

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНѢНІЙ

ОТЪ ДВАДЦАТЫХЪ ДО ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

Историческіе очерки.

IX *).

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ предыдущемъ изложеніи конечно далеко не исчерпана исторія литературныхъ мнѣній избраннаго періода, обозначены только главнѣйшія черты этой исторіи, нѣкоторыя стороны едва затронуты, но существенный смыслъ литературнаго движенія уже сказывается и въ тѣхъ фактахъ, какіе были здѣсь приведены, если обратить вниманіе на послѣдовательную связь явленій, отношеніе литературы къ массѣ общества и на отношеніе литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ къ послѣдующему періоду.

Несомнѣнно, во-первыхъ, что указанный ходъ литературы былъ послѣдовательный и прогрессивный, въ томъ смыслѣ, что чужія формы все больше и больше устранились, что литература все тѣснѣе и тѣснѣе примыкаетъ къ жизни, и содержаніе каждой новой ступеню становится все глубже и серьезнѣе.

Въ двадцатыхъ годахъ еще сохраняются остатки стариннаго псевдо-классической школы, но господствуетъ романтизмъ, съ чуж-

*) См. выше: 1871, май, 233; сент. 301, дек. 455; — 1872, май, 145; ноябрь, дек. 618; — 1873, апр. 471; май, 223 стр.

и съ большимъ количествомъ чужого содержанія. Какъ литературная форма, напѣ романтизмъ былъ шагомъ впередъ старой школы, по по понятіямъ общественнымъ онъ былъ сущности консервативенъ. Правда, пушкинская школа въ первое время была нѣсколько склонна къ политическому либерализму, отчасти подъ байроновскими впечатлѣніями, отчасти подъ вліяніемъ круга, съ которымъ Пушкинъ въ молодости былъ дружески связанъ; но вскорѣ, она покинула свои первыя увлеченія и стала то консервативной. За Пушкинымъ остается великая заслуга, съ него начинается первая возможность истиннаго сближенія политической литературы съ жизнью, что въ немъ впервые масса общества находила дѣйствительнаго поэта, который затронулъ его глубинныя въ ней и не развивавшіяся поэтическіе инстинкты. Что въ его поэзіи впервые являлись вѣрные черты народнаго быта, преданій и исторіи: въ художественномъ развитіи литературы, дѣятельность Пушкина стала эпохой. Но со стороны существеннаго содержанія пушкинская школа еще мало отдѣлилась отъ прежняго преданія и отличалась отъ него только тѣмъ, что переживши свой періодъ увлеченій, познакоившись отчасти съ возможностью иныхъ взглядовъ, она хотѣла теперь являться вѣстельно - консервативной, хотѣла поддерживать свою точку зрѣнія какъ обдуманную, снабженную аргументами теорію, а въ поэтическихъ художественныхъ имѣла уже гораздо болѣе высокое, хотя и очень отвлеченное, представленіе о нравственномъ достоинствѣ искусства.

Въ литературѣ уже скоро обнаружилось движеніе болѣе критическаго и прогрессивнаго характера. Различными нитями связанное съ политическимъ либерализмомъ двадцатыхъ годовъ, или, точнѣе, съ тѣмъ общимъ настроеніемъ, изъ котораго этотъ либерализмъ произошелъ. Для политическихъ интересовъ, въ разсматриваемомъ періодѣ, и особенно въ началѣ, не было никакого мѣста; но въ образованнѣйшемъ литературномъ кругу не исчезло и, напротивъ, укрѣпилось стремленіе въ прежнемъ періодѣ стремленіе выяснить общепринципы, усвоить обществу понятія европейской общности и т. д. Продолженіемъ и отголоскомъ либерализма двадцатыхъ годовъ была, во-первыхъ, журнальная дѣятельность, которая въ свое время оставалась освѣжающимъ факторомъ въ наступившемъ глухомъ періодѣ общественной жизни. Такимъ отголоскомъ былъ, во-вторыхъ, скептицизмъ Чаа-Наконцевъ, болѣе отдаленнымъ, но очень живымъ отголоскомъ были упомянутыя нами прежде мнѣнія одного изъ

московскихъ кружковъ въ тридцатыхъ годахъ, уже тогда явившаго политическое направленіе. Но, независимо отъ болѣе или менѣе замѣтныхъ связей разсматриваемаго періода предыдущимъ, во всемъ общемъ составѣ литературы развивавшаяся очевидная склонность къ изученію общественныхъ отношеній въ весьма различныхъ, несходныхъ и повидимому не имѣвшихъ между собою никакой связи отношеній.

Новыя литературныя школы, образовавшіяся въ московскихъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, въ началѣ далекія отъ какаго общественно-политическаго интереса и даже совершенно безучастныя къ нему, мало-по-малу приходили къ нему, — очевидно было, что сознательная мысль общества, работа которой выражалась въ этихъ школахъ, съ какихъ бы отвлеченностей она начинала, не могла не придти въ концѣ-концовъ къ тому, такъ или иначе становилось очереднымъ моментомъ развитія. Критика Бѣлинскаго, сначала теоретически и отвлеченно, потомъ въ самомъ реальномъ смыслѣ наставляла на необходимость изучать жизнь и дѣйствительность, и только въ ней находила истинное и глубокое содержаніе литературы. Съ «западнымъ» направленіемъ согласны были въ этомъ и славянофилы. Обѣ школы различно оцѣнивали непосредственную дѣйствительность, но одинаково считали ея изученіе истиннымъ содержаніемъ литературы, и одинаково видѣли свою цѣль въ развитіи общественнаго самосознанія; въ ихъ общественныхъ понятіяхъ было сходно повсюду о несправедливости многихъ существующихъ отношеній, напр. о постыжномъ состояніи, о необходимости поднять народную массу нравственно и матеріально, о необходимости болѣе свободы науки и для печатнаго слова и т. д.

Въ литературѣ ученой развиваются съ особенной силой науки, которыхъ она до тѣхъ поръ почти не знала. Исторія археологія и этнографія больше и больше обращались къ изученію народныхъ элементовъ. Любопытность археологическая и этнографическая мало-по-малу освѣщалась принципомъ широкимъ чѣмъ прежде, переходила въ увлеченіе, въ пристрастіе ко всему народному; довольно поверхностное сначала, свободное отъ странныхъ преувеличеній, это пристрастіе переходило въ сочувствіе къ народу въ общественномъ смыслѣ, въ такое убѣжденіе о ненормальности его гражданскаго положенія, о необходимости измѣнить это положеніе въ смыслѣ болѣе благопріятномъ для нравственнаго достоинства того «народа», который былъ теперь упомянутъ даже въ официальной программѣ школьной жизни, и для развитія національнаго содержанія.

Наконецъ, параллельное явленіе того же рода происходило въ литературѣ поэтической, въ беллетристическѣй. Великое значеніе состояло именно въ томъ, что въ его произведеніяхъ являлась картина живой непосредственной дѣйствительности, изображенная съ такой правдивостью и такъ ярко, какъ еще не бывало въ русской литературѣ. Какъ мы видѣли, теоретическимъ понятіямъ, даннымъ его образованіемъ, Гоголь исполнилъ челоуѣкомъ пушкинской школы, чисто консервативный мѣтѣ; но по гениальной отгадкѣ, данной его талантомъ, картина, вѣрно схватившая пошлыя стороны жизни, ея бѣдность и вмѣстѣ испорченность, приобрѣтала смыслъ, далеко превышавшій его собственныя теоретическія соображенія. Онъ самъ почувствовалъ этотъ обширный смыслъ своего дѣла (это предчувствіе высказывается въ извѣстныхъ «лирическихъ мѣстахъ» «Мертвыхъ Душъ»), но по своей точкѣ зрѣнія не могъ опредѣлить его правильно. Отсюда вышелъ извѣстный разладъ, отрицаніе Гоголемъ своихъ собственныхъ произведеній, — фактъ, печальный въ личной исторіи, но характеризующій положеніе вещей. Критики и болѣе серьезные или впечатлительные люди общества эманировали изъ его произведеній тотъ выводъ, который не былъ чуждъ самому автору: къ этому выводу приводили серьезные наблюденія падъ жизнью, въ немъ соглашались понятія мыслящихъ людей. Этотъ выводъ былъ — ненормальное подавленное состояніе русской жизни, бѣдность общественныхъ интересовъ, недостатокъ образованности, необходимость преобразованій, которыя подняли бы нравственный и умственный уровень, устранили бы общественную несправедливость, тяготѣвшую надъ громадной частью всей націи. Литература съ различныхъ сторонъ приходила къ мысли о народѣ; она проникалась любопытствомъ и сочувствіемъ къ его исторіи, къ его настоящему; хотѣла сблизиться съ нимъ, и первое время старалась ознакомиться съ нимъ по крайней мѣрѣ доступными средствами, какія были для нея возможны... Это было возмужаніе тѣхъ же идей, какія одушевляли лучшихъ людей двадцатыхъ годовъ, — но идей, очищенныхъ временемъ и развитыхъ новыми изученіями; онѣ были теперь болѣе или совершенно независимы отъ вліяній европейскаго либерализма, были болѣе свободны отъ платонической романтики, направлялись на дѣйствительныя вопросы народнаго блага, приобрѣтали настоящій общественный смыслъ.

Такимъ образомъ, ходъ того направленія литературы, за которымъ мы въ особенности слѣдили въ настоящихъ очеркахъ, былъ весьма послѣдовательнымъ развитіемъ одной основной идеи —

постепенно выросавшаго общественнаго сознанія, критики существующаго порядка вещей, интереса къ народной массѣ, основанію національнаго цѣлаго. Все, что стояло внѣ этого правленія, не имѣло иного значенія, кромѣ значенія старой тины, привычнаго продолженія отживавшихъ преданій; эти вышнія стремленія, представляли собой результатъ развитія, шенно естественный и логически законный въ общественномъ бытіи, и имъ принадлежало будущее. Здѣсь была правда, бованіямъ которой должно было быть дано удовлетвореніе, того, чтобы просто возможно было дальнѣйшее развитіе, и общественное, и національное.

Къ сожалѣнію, необходимость удовлетворить новымъ потребностямъ общества была признана только тогда, когда на это указало и объ этомъ напомнило внѣшнее потрясеніе, толчокъ, данный крымскою войною... Трудно сказать, сколько бы длилось прежнее положеніе вещей, безъ этого внѣшняго толчка.

Въ самомъ дѣлѣ, внѣшнее положеніе новой литературы было въ томъ періодѣ очень незавидно. Она встрѣчала пониманіе и сочувствіе только въ незначительномъ меньшинствѣ общества; въ остальной его части находила она или невниманіе, или положительную вражду и преслѣдованіе.

Это обстоятельство имѣетъ весьма существенную важность для правильной оцѣнки тогдашняго состоянія общественной мысли вообще образованности. Противъ этого меньшинства было то большинство, понятія котораго выражались системой официальной народности. Мы видѣли выше общія черты этой системы; какъ же образомъ эта система относилась къ новому порядку идей?

Говоря о литературѣ тѣхъ временъ, у насъ довольно обыкновенно замѣчаніями о строгости цензуры, которая въ сущности тяжело отзывалась на прогрессивной литературѣ, цензура была только послѣдствіемъ цѣлаго характера господствовавшей системы, и самая система была не случайной принадлежностью одного извѣстнаго времени, или частнымъ взглядомъ дѣльных лицъ, но именно была давно слагавшимся взглядомъ, выраженіемъ мнѣній огромнаго большинства общества.

По своимъ общимъ основаніямъ, система официальной народности была продолженіемъ давнишнихъ общественныхъ традицій, которыя въ этомъ періодѣ получили только извѣстную чуждость, сведены были въ одно цѣлое. Это были старинныя понятія патріархальнаго общества, мало затронутыя реформой.

еще до-петровской старины. они идутъ черезъ все восьмидесятое столѣтіе, до самаго новаго времени, мало измѣняясь при новыхъ формахъ государственнаго управленія, при новыхъ обычаяхъ и нравахъ общества... Реформа Петра, которая вносила столько новаго въ темную жизнь древней Руси и которой, безъ сомнѣнія, принадлежит та заслуга, что въ ней были первые ростки дальнѣйшихъ умственныхъ успѣховъ, — эта реформа, въ ближайшемъ смыслѣ, почти нисколько не измѣнила понятій объ отношеніяхъ общественныхъ. Петръ могъ ставить интересъ государства, силу закона выше собственнаго интереса и собственной силы, но его примѣръ не былъ принятъ обществомъ, которое привыкло къ личному господству и къ личному произволу власти. Петръ нашелъ государство деспотическимъ, и такимъ же оставилъ его. Понятія общества остались неизмѣнны, хотя бы можно было ждать, что заявленная Петромъ мысль о господствѣ государственнаго интереса надъ личнымъ авторитетомъ получить свое значеніе, что заявленная имъ необходимость науки будетъ признана и наука будетъ оказывать свое дѣйствіе на умы... Результатъ этого рода явился только довольно поздно.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, стали думать, однако, что петровская реформа уже совершила свой циклъ, что она исчерпана, что для русской жизни наступаетъ періодъ другихъ началъ, періодъ самобытнаго, независимаго развитія. Это была собственно та новая мысль, которая проводилась въ системѣ официальной народности, какъ она понималась въ разсматриваемомъ періодѣ: эта прибавка и отличала систему отъ правительственныхъ взглядовъ прежняго времени и составляла ее особенность. Мысль о томъ, что реформа завершалась, была, впрочемъ, довольно распространена. Такъ думали и люди, слѣдовавшіе системѣ официальной народности, и люди новаго, критическаго направленія; только тѣ и другіе понимали это каждый по-своему. Первымъ казалось, что намъ нечему учиться у Европы собственно потому, что она преисполнена пороками, блужденій и порчи умственной, нравственной и политической, и что начала нашей жизни несравненно лучше и выше. Вторые думали, что намъ нельзя оставаться подражателями Европы, потому что и самимъ пора работать надъ началами ея цивилизации, примѣнить которыя къ нашей жизни можемъ только мы сами; что намъ, усвоивъ европейскую образованность, — высшую, которую только достигло человечество, — пора внести въ ея запасы и собственный нашъ вкладъ; по мнѣнію нѣкоторыхъ, этотъ вкладъ уже и готовъ... Первые высказывали точку зрѣнія большинства и принадлежащаго ему уровня образованности; въ ихъ мнѣ-

ніяхъ отражалось то иногда грубое, иногда наивное высокомеріе, съ какимъ тогда очень часто смотрѣли у насъ на западную Европу, — на основаніи того военнаго преобладанія, которое дѣйствительно тогда было и паткости котораго еще не предвидѣли. Вторые выражали взглядъ меньшинства; онъ могъ быть отчасти посителенъ вѣреть для тѣхъ немощныхъ, образованныхъ людей, которые дѣйствительно стояли на уровнѣ европейской науки и могли относиться къ ней съ извѣстной самостоятельностью, но онъ былъ крайне ошибоченъ и совершенно неприменимъ къ массѣ общества...

На дѣлѣ, положеніе образованности было далеко не таково и если первая точка зрѣнія была очевиднымъ заблужденіемъ, то и вторая была крайне преувеличена.

Займствованіе европейской образованности, которое подражали говоря о реформѣ Петра, далеко не могло считаться деломъ завершеннымъ во второй четверти нашего столѣтія.

Въ теченіе XVIII-го столѣтія, какъ мы замѣтили, не изменился почти нисколько и характеръ общественныхъ понятій. Измѣнились только внѣшнія формы. Прежде чѣмъ образованіе могло распространиться настолько, чтобы водворить нѣкоторые общественныя понятія, все дѣло реформы, веденной принудительными средствами, только укрѣпляло старыя формы власти и полную подчиненность общества; прежде, чѣмъ послѣднее могло уразумѣть реформу (а по своимъ старымъ понятіямъ, оно и не могло уразумѣть ея скоро), оно было уже вынуждено къ принятію нововведеній; новыя административныя учрежденія развили, на сто прежняго патріархальнаго подчиненія, казарменную и канцелярскую дисциплину; канцелярское управленіе стало усиливать все больше и больше, и захватило наконецъ все самыя малоподвижныя отправленія общественной жизни и уничтожило послѣдніе остатки старыхъ порядковъ, гдѣ еще были нѣкоторые слѣды патріархальной свободы. Канцелярія и въ своемъ подлинникѣ, поэтому у насъ подражали, не были учрежденіемъ благопріятнымъ для духа общественности; у насъ онѣ привели окончательное порабощеніе общества. Наука развивалась очень медленно, введенная какъ дѣло государственной надобности, она долго оставалась какъ будто только наружной приставкой къ русской жизни въ видѣ «де-сіансъ» академіи, члены которой также выписывались изъ-за границы, какъ выписывались другіе мастера, художники и ремесленники: выписанные академики естественно чувствовали себя чужими этому обществу, держались особымъ кружкомъ, и ихъ наука, собственно говоря, оставалась чужда русской жизни.

пускала въ ней только рѣдкіе ростки. Мало-по-малу, заимствованія увеличивались и съ теченіемъ времени оно приносило свои ближайшіе плоды, но положеніе науки вовсе не было обеспечено, за ней не было признано самостоятельнаго права, необходимой для нея свободы, — понятно, что въ области гуманитарныхъ наукъ у насъ до самаго поздняго времени не было одного русскаго ученаго, который бы занялъ высокое положеніе въ обще-европейской наукѣ... При этомъ недостатокъ собственной научной силы, наша наука все-таки должна была еще выдерживать отголоски европейскихъ реакцій, подвергаться преслѣдованіямъ, которыя были печальной проніей, — потому что преслѣдованіе падало на ребенка, едва выходящаго изъ колыбели: таково было, напримѣръ, обскурантное преслѣдованіе университетовъ при Александрѣ I-мъ и проч. Главнымъ умственнымъ вліяніемъ оставалась европейская литература...

Словомъ, если принципъ науки и былъ допущенъ въ русскую жизнь реформой, то наука еще не заняла въ ней подобающаго мѣста, ея осязательное вліяніе оказывалось только въ незначительномъ меньшинствѣ и не успѣло много измѣнить стараго характера общественныхъ понятій, господствовавшихъ въ массѣ.

Въ теченіе всего XVIII-го и нынѣшняго столѣтія, исторія нашей образованности представляетъ картину крайней шаткости, неопредѣленности, боязливости и неполноты. Литература оставалась въ совершенно подчиненномъ положеніи.

Государство развивалось почти исключительно; внѣшнія силы и вѣсь его выросли съ каждымъ царствованіемъ; авторитетъ власти, наслѣдованный отъ полу-восточнаго московскаго царства, еще усиливался. Отъ Европы государство прежде всего и охотнѣе всего приняло военныя приемы и приемы канцелярской администраціи; съ ихъ помощью оно стягивало національныя силы, которыя и пошли на вѣншее укрѣпленіе государства, на завоевательныя войны. Прежде всего, и надолго усвоена чисто практическая сторона европейской образованности, которая пужна была необходима, конечно, цѣли — утвержденію государства, — и цѣпила почти исключительно только съ этой стороны. Общество играло роль чисто служебную, безъ всякихъ учрежденій, которыя давали бы ему какую-нибудь долю самостоятельности. Государство поглощало въ себѣ все національныя силы, и матеріальныя и нравственныя...

На исключительное служеніе государству пошла и первая потребность начинавшейся литературы. На первое время, это было вполне естественно и необходимо: литература, какъ выра-

женіе возникавшей общественной мысли, не могла не стать совершенно искренно, на сторонѣ того авторитета, который выступилъ на борьбу съ педантизмомъ,—могла, пожалуй, и не имѣть непригодности нѣкоторыхъ средствъ, какія были употреблены въ этой борьбѣ. Но литература и въ послѣдствіи почти не выходила изъ этого отношенія къ авторитету. За немногими исключеніями, она оставалась въ своемъ чисто служебномъ положеніи въ соответствіи съ чисто служебнымъ положеніемъ массы общества. Это общество, въ массѣ, владѣло еще столь ограниченными образованіемъ, жило въ столь патриархальныхъ правахъ, что ему не тревожили никакіе запросы ни умственные, ни общественныя. Большой частью, литературѣ приходилось исполнять относительно этой массы только обязанности элементарнаго обученія; въ болѣе образованной части общества эти запросы также не были еще довольно сильны, и литература вращалась въ томъ же кругу идей: поэзія была торжественной одой и восхваленіемъ настоящаго; сатира вооружалась противъ смѣльныхъ сторонъ жизни; насколько это могло быть одобряемо властью, и молчала о всемъ томъ, что столько же или гораздо болѣе заслуживало бы сатиры, но о чемъ не позволялось и помыслить литературѣ, какъ и самому обществу...

Такъ это продолжалось въ теченіе всего XVIII-го вѣка. Литература панегириковъ была безконечна; торжественная ода давно установила топъ, въ которомъ литература относилась къ общественнымъ событіямъ: литература привыкла говорить только по торжественнымъ случаямъ, восхвалять героическія добродѣтели и подвиги. Сатира въ позднѣйшее время пробовала касаться болѣе серьезныхъ предметовъ, но ей не было мѣста въ тогдашнихъ правахъ; иногда ее останавливала сама власть, находившая приличнымъ и дерзкимъ внимательство литературы въ то, что считалось исключительно дѣломъ правительства; но иногда останавливало и само общество, нападавшее на «Ябеду», на «Розовизора» и т. д.

Къ сожалѣнію, реформа Петра осталась, въ сущности, единственнымъ фактомъ, гдѣ авторитетъ съ энергіей дѣйствовалъ въ пользу образованія. Реформа внушала уваженіе позднѣйшимъ правителямъ, которые не могли не чувствовать, что на ней утвердился новое возростаніе Россіи, и не могли не преклоняться передъ ея величіемъ; но сами они не были способны продолжать ее достойнымъ образомъ. Русская жизнь въ XVIII-мъ вѣкѣ не находила такого могущественнаго руководителя, какимъ былъ Петръ, въ правительственныхъ сферахъ движеніе продолжалось

какъ-будто только силой инерціи. То, что дѣлалось для образованія въ XVIII-мъ вѣкѣ, едва ли не было тотъ минимумъ, безъ котораго уже нельзя было обойтись...

Разъ возбужденная, русская образованность была почти представлена самой себѣ, и лучшія силы общества сумѣли поддержать ее и дать ей серьезное развитіе. Дѣло не обошлось безъ ошибокъ, но мысль была уже возбуждена, и въ умахъ общества, какъ и въ литературѣ, возникала потребность критики и самостоятельной дѣятельности. Таково въ особенности литературное и общественное возбужденіе временъ Екатерины, — отъ котораго идутъ уже осязательныя нити развитія до новѣйшаго времени. Но это критическое направленіе, повторяемъ, было дѣломъ меньшинства, исключеніемъ; а правиломъ было упомянутое нами отношеніе литературы къ общественному вопросу, — служебное, панегирическое, консервативное, основанное на тѣхъ данныхъ, которыя вообще произвели систему официальной народности. Эти данные были — и авторитетъ власти, и преобладаніе внѣшней государственной дѣятельности, ослѣплявшей умы блескомъ и завоеваніями, и слабое развитіе умственныхъ интересовъ въ массѣ общества...

Итакъ, легко видѣть, что система официальной народности — какъ мы находимъ ее во второй четверти нынѣшняго столѣтія — выросла естественно изъ долговременныхъ представленій самого авторитета, и изъ долговременныхъ привычныхъ мыслей у большинства. Всѣ подробности системы легко развивались изъ общаго, господствовавшаго понятія о положеніи Россіи относительно Европы и изъ тѣхъ частныхъ обстоятельствъ, какія представлялись у насъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Характеристической чертой системы и вмѣстѣ большинства (въ противоположность направленію критическому) стало самомиѣніе, которому и не мудрено было придти къ мысли, что Петровский періодъ нашего развитія, періодъ усвоенія европейскаго образованія кончился, что мы не только можемъ обойтись безъ Европы, но даже выше ея, и по здравымъ началамъ нашей жизни (патриархальный миръ и благочестіе съ одной стороны; революція и безбожіе съ другой), и даже по матеріальному благосостоянію (мы кормили Европу нашимъ хлебомъ, и держали въ страхъ нашей военной силой). При сильномъ убѣжденіи въ вѣрности этого взгляда, — а такое убѣжденіе при нежеланіи критически себя проверить, могло являться очень легко, — очевидно, что другой взглядъ, который бы являлся съ какими-нибудь сомнѣніями относительно этихъ предметовъ, долженъ былъ внушать самое непріятное чувство: къ этому взгляду должны

были чувствовать только или пренебреженіе, какъ къ легкомыслию, или вражду, какъ къ недоброжелательству... Таково и было отношеніе людей господствующаго образа мыслей къ новымъ литературнымъ школамъ.

При такомъ отношеніи огромнаго большинства къ меньшинству, господствующаго образа мыслей ко взглядамъ, едва пролагавшимъ себѣ путь въ литературѣ, господствующей дѣйствительности къ теоретическому идеалу, не трудно видѣть, въ какомъ прискорбномъ заблужденіи находились обѣ теоріи новыхъ литературныхъ школъ, и славянофильской, и особенно западной, когда онѣ съ своей стороны (каждая по-своему) также думали видѣть въ настоящемъ (въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ) завершеніе Петровскаго періода, находить въ настоящемъ уже готовую въ принципѣ, самобытность русской цивилизаціи, уже достаточно воспринявшей начала европейскаго образованія, или даже открывать, какъ славянофилы, въ нашемъ настоящемъ бытіи идею далеко превосходящую то, что могла представить цивилизація Европы. Славянофилы, собственно говоря, еще могли спокойно смотрѣть на окружающую дѣйствительность, которая въ сущности во многомъ была вѣрна семнадцатому вѣку; ея грубыя стороны они могли перетолковывать благоприятнымъ образомъ и подкрашивать картину. Но для другой школы и это было невозможно. Она просто заблуждалась, если искренно вѣрила въ завершеніе реформы въ тридцатыхъ годахъ,—потому что судьба русской образованности далеко еще нельзя было считать тогда упроченной...

Это заблужденіе литературныхъ школъ имѣло разныя причины. Во-первыхъ, та критическая мысль, которая дѣйствовала въ нихъ,—сколько волею, а еще болѣе того неволею, слишкомъ ограничивалась чисто теоретическими вопросами, литературными и философскими, и отъ нея нерѣдко ускользало реальное положеніе вещей. Гоголевскій періодъ показался ей, и не безъ основанія, вступленіемъ литературы на прямую дорогу единства и согласія съ жизнью; но она преувеличила значеніе гоголевскаго вліянія и сочла его за весь искомый результатъ литературнаго развитія... Съ другой стороны, тамъ, гдѣ для писателей «западная» школа становилась ясной общая бѣдность литературы, ограниченность ея дѣйствія на цѣлую массу общества, гдѣ для нея были чувствительны внѣшнія препятствія, мѣшавшія ея успѣхамъ,—люди этого направленія какъ-будто хотѣли уйти отъ желаннаго сознанія, успокоиться отъ него на высотѣ своихъ теоретическихъ надеждъ и идеаловъ, хотѣли впередъ видѣть въ нихъ

идеальную русскую мысль, и, убѣжденные въ вѣрности своего идеального образа мыслей, думали, что этимъ образомъ мыслей уже теперь долженъ быть обозначенъ новый періодъ въ развитіи цѣлаго общества. Какъ будто они хотѣли обмануть себя — «насъ возвышающимъ обманомъ», или, сознавая противное, думали силой своего убѣжденія и своей вѣры объяснить и потушить другимъ свои стремленія... Они были, конечно, правы, когда считали — относительно своего тѣснаго круга, собравшаго лучшихъ умы, таланты и характеры тогдашняго общества, пройденными и пережитыми извѣстными ступени историческаго европейскаго развитія; но не были правы, когда не приняли въ разсчетъ сколько времени еще потребуется для того, чтобы въ массѣ общества привились и распространились тѣ понятія, которыя отнесли ихъ самихъ,—привились настолько, чтобы можно было считать за ними сколько-нибудь дѣйствительную силу. Бѣлинскій не видѣлъ того открытаго заявленія мнѣній большинства, которое выразилось рядомъ репрессивныхъ мѣръ съ 1848-го г.; и другіе писатели этого круга (далее мы приведемъ примѣры) не могли были горько сознаться въ ошибкахъ своего прежняго идеалистическаго идеализма...

Если отъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ мы обратимся къ своему собственному времени, — черезъ промежутокъ въ тридцать-сорокъ лѣтъ, — мы увидимъ, какъ преждевременны были отчасти и большинства эти надежды на литературную и научную самобытность русскаго общества. Не только масса общества, но можно сказать большинство самой литературы слишкомъ далека отъ сколько-нибудь серьезнаго пониманія вещей; напротивъ, — не говоря о той низменной литературѣ, у которой нѣтъ никакого интереса кромѣ мелкаго прислужничества и денежной выгоды, даже въ такихъ кружкахъ, которые заявляютъ притязанія на извѣстную самостоятельность, на извѣстную рациональность и самостоятельность своего образа мыслей, господствуетъ такое полное подчиненіе ходячимъ понятіямъ и ходячему разсчету, что можно было бы говорить о присутствіи въ нихъ истинно-критическаго начала. Освѣжающія явленія возникаютъ изрѣдка въ отдельныхъ трудахъ, иногда приходятъ изъ иностранной литературы, — но большинство наличной литературы отъстоитъ къ нимъ съ тупымъ непониманіемъ и наглымъ гаерствомъ. Правда, не останавливается рядъ разнообразныхъ изысканій историческихъ, экономическихъ и проч., продолжаетъ развиваться вновь дѣятельная фактическая разработка общественной исторіи и народнаго быта, — и все это общается вѣко-

гда полезные результаты, но въ данную минуту еще мало оказываютъ дѣйствія на общественное мнѣніе массы. Современное положеніе литературы есть безспорно упадокъ. Правда, многие относятъ его причину только къ внѣшнимъ репрессивнымъ мѣрамъ — и ихъ вліянія невозможно не признать, — но быстрое обдѣленіе литературы въ общественно-критическомъ направленіи все-таки показываетъ, какъ мало въ самомъ обществѣ тѣхъ живыхъ интересовъ, сила и слабость которыхъ всегда отражается въ литературѣ...

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ большинство стояло еще степенно ниже. Соотвѣтственно этому, общественно-критическое направление двухъ передовыхъ школъ было еще болѣе одиноко и слабо противъ окружающихъ его препятствій. Пересмотрѣвъ нѣсколько примѣровъ того, какъ относились къ литературѣ и новымъ стремленіямъ образованности руководящія власти, мы вмѣстѣ съ тѣмъ увидимъ и отношеніе большинства къ этой литературѣ, потому что упомянутыя власти несомнѣнно выражали и господствующія понятія большинства, именно понятія системы официальной народности.

Тридцатые и сороковые года представляютъ много любопытныхъ столкновеній этого рода, которыя наглядно изображаютъ, какъ въ самыхъ разнообразныхъ предметахъ критическое направление или просто малѣйшіе признаки самостоятельнаго вкуса и противорѣчія принятому взгляду встрѣчались съ недовѣріемъ, запреценіемъ и преслѣдованіемъ. Эти предметы болѣею частью были совершенно безобидны, иногда до такой степени, что въ наше время трудно даже понять, чѣмъ они могли возбуждать такую подозрительность.

Въ 1834, подвергается запреценію «Московский Телеграфъ» Полеваго, замѣчательнѣйшій журналъ того времени, за литературно-критическую статью объ извѣстной пьесѣ Кукольника «Рука Всевышняго отечество спасла», — статью, которая дала поводъ нѣкоторымъ давнимъ врагамъ этого журнала прямо указать на него, какъ на органъ вредный и вольнодумный. Журналъ былъ запреценъ, и самъ Полевой съ жандармомъ приехалъ въ Петербургъ къ отвѣту. Столь неприкосновенной считалась пьеса Кукольника! ¹⁾

¹⁾ Еще ранѣе, были случаи запреценія (въ 1830 г.) «Литературной Газеты» извѣстнаго въ свое время изданія барона Дельвига, за напечатаніе перевода Верстегена въ память юльскихъ дней во Франціи, и запреценіе «Европейца» редактора Ив. Кирѣевского. По словамъ г. Бартенева, Дельвигъ «погибъ» за эти статьи.

Въ 1836, произошло извѣстное запреценіе «Телескопа», Наумкина, за напечатаніе «Философическаго письма» Чаадаева. Извѣстно, что мѣра, принятая противъ Чаадаева, была почти мягче въ сравненіи съ тѣмъ ожесточеніемъ, съ какимъ приняла тѣмъ же властью въ первую минуту московская публика. Сама публика еще дальше въ своей нетерпимости, чѣмъ даже руководящія власти.

Въ 1842 году самъ Кукольникъ, столь высоко цѣнимый, подвергся строгому выговору за свою повѣсть изъ петровскихъ временъ «Сержантъ Ивановъ, или всѣ за одно», въ которой отыскано было «желаніе выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую — его двороваго человѣка»; самое сочиненіе названо въ выговорѣ «ничтожнымъ». Повидимому, только усердныя извиненія Кукольника сняли съ него пеню начальства ¹⁾.

Въ 1832 году, вышли «Русскія сказки» извѣстнаго Даля. Книжка была захвачена, и авторъ арестованъ, потому что въ одной сказкѣ открыли какіе-то намѣки, которыхъ, повидимому, и не было. Впослѣдствіи, изданіе его «Пословицъ», уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, встрѣтило сначала большія цензурныя затрудненія; цензурныя опасенія относительно «Пословицъ» Даля ощутилъ даже одинъ изъ членовъ русскаго отдѣленія академіи наукъ. «Пословицы» Даля изданы были уже въ наше время, въ всякой опасности для народной нравственности.

Мы упоминали прежде, какъ тѣ же условія тяжело подѣйствовали на дѣятельность И. В. Кирѣевскаго, журналъ котораго «Европеецъ» (1832) прервался на второй книжкѣ, по подозрѣніи въ крайнемъ либерализмѣ; какъ въ сороковыхъ годахъ Кирѣевскій затруднялся простымъ изданіемъ своего сборника пѣсенъ, необходимость которыхъ надо было объяснять и доказывать. Извѣстны также или менѣе различные случаи подобнаго рода, происходившіе съ другими славянофильскими писателями, Хомяковымъ, И. С. Аксаковымъ и пр.

Гоголь также не избѣгъ неудобствъ цензурныхъ. «Мертвые души», проходя черезъ цензуру, потеряли небольшой кусокъ, который только впослѣдствіи былъ присоединенъ къ собранію его сочиненій. «Переписка» потеряла цѣлый рядъ писемъ, напечатанныхъ уже только въ 1867 г. ²⁾.

¹⁾ Объ июльской революціи (Дельвигъ умеръ въ томъ же 1830 году). «Р. Арх.» 1872, 2025. Подробности этого обстоятельства еще не были, кажется, рассказаны въ литературѣ. — О запреценіи «Телеграфа» см. «Р. Старину» 1870, I, стр. 550—553.

²⁾ См. «Р. Старину» 1871, III, 793—794.

До сихъ поръ остается неразъясненнымъ временное исчезновеніе «Мертвыхъ

Когда-нибудь вѣроятно собраны будутъ подробности о томъ, какъ дѣйствовали тѣ же условія на такъ-называемую художественную литературу, на «свободное творчество», на «искусство для искусства». Но извѣстно вообще, что «свобода творчества», о которой такъ много говорила и заботилась наша художественная критика, была, къ сожалѣнію, перѣдко слишкомъ фиктивной воображаемой, какъ это показываютъ довольно и нѣкоторые изъ приведенныхъ сейчасъ примѣровъ¹⁾. Этого обстоятельства, кажется намъ, до сихъ поръ не умѣла достаточно опѣнить ни исторія нашей литературы, ни художественная критика, иногда и до сихъ поръ такъ горячо защищающая свободное искусство.

Дѣятельность того литературнаго круга, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, была въ особенности подвергнута недоумѣнному надзору. Въ примѣръ этого укажемъ нѣсколько случаевъ извѣстныхъ относительно Грановскаго и дающихъ понятіе о положеніи вещей. Грановскій, изъ всѣхъ писателей этого круга, въ особенности отличался той ровной мягкостью и тактомъ, которые могли бы внушить довѣріе къ его профессорской и литературной дѣятельности; но и эти свойства нисколько не спасали его отъ подозрѣній и стѣсненій,—и главное, все это шло не отъ однихъ только руководящихъ властей: къ сожалѣнію, многое, стѣснявшее дѣятельность Грановскаго, исходило отъ нѣкоторыхъ людей въ той самой средѣ, гдѣ онъ вращался, отъ людей «интеллигенціи» отъ самаго общества, большинству котораго не были ни понятны ни сочувственны его стремленія.

Уже скорѣ послѣ того, какъ Грановскій основался въ Москвѣ, онъ сталъ приобретать ту извѣстность и популярность, которыми онъ пользовался погломъ въ кругу слушателей и образованнаго общества. Въ 1843-мъ году онъ читалъ публичный курсъ сопровождавшійся небывалымъ успѣхомъ. Но рядомъ съ этимъ готовились и неприятыя обстоятельства. «Профессорскому поприщу Грановскаго среди успѣховъ уже грозила опасность (въ 1843-мъ году),—замѣчаетъ его біографъ. Оно было до того непрочное, что онъ уже вынужденъ былъ помышлять о перемѣнѣ службы». Въ письмѣ къ одному изъ друзей онъ сообщаетъ, что отъ него требовали апологій и оправданій въ видѣ лекцій: «реформація и

Душъ», въ то время, когда онъ посланъ былъ изъ Петербурга къ Гоголю въ Москву и при этомъ на нѣсколько недѣль пропадали неизвѣстно куда.

¹⁾ Лѣтъ 17—18 тому назадъ, въ числѣ появившейся тогда рукописной литературы была небольшая, довольно остроумно написанная статья, которая ходила съ одного изъ старѣйшихъ нынѣшнихъ писателей, и гдѣ было собрано много различныхъ примѣровъ цензурной практики сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ.

должны быть излагаемы съ католической (!) точки зрѣнія и какъ шагъ назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о реформаціи. Реформація уступить я не могъ. Что же бы это была исторія?...» Нечего говорить, что это была бы исторія очень неприятная.

Въ эту пору оживленной дѣятельности, Грановскаго сильно занимала мысль издавать съ своими друзьями журналъ. Онъ подалъ (въ іюнѣ 1844) просьбу о разрѣшеніи ему издавать журналъ «Ежемесячное Обзоріе». Отвѣтъ последовалъ только въ 1845-мъ году; онъ былъ кратокъ и ясенъ: «не нужно.»

Въ кругу «интеллигенціи» Грановскій и его друзья встречали не одно противорѣчіе мнѣній, но настоящую вражду, которая могла вліять и на ихъ общественное положеніе. Въ мартѣ 1845, Грановскій пишетъ къ одному изъ друзей, — «обо мнѣ причать, что я интригантъ и тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій, какія наносятся славянству» (рѣчь идетъ вѣроятно о разныхъ университетскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ), что эти обвиненія распространяются и на его друзей, что, на примѣръ, Бѣлинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ своими статьями подрываетъ народность (?), семейную нравственность и православіе. Въ письмѣ къ Бѣлинскому, сохранившемся въ бумагахъ Грановскаго, онъ съ необычайнымъ раздраженіемъ, по словамъ біографа, говоритъ о отношеніяхъ къ нему его учено-литературныхъ противниковъ, именно «большой части сотрудниковъ Москвитянина», — по мнѣнію которыхъ отчасти онъ «ославленъ врагомъ церкви и Рос-

Извѣстно отчасти, какія столкновенія этого рода приходилось испытывать также Бѣлинскому и другимъ писателямъ этого круга. Опять должно сказать, что не только руководящія власти вызвали подозрительность къ нему, или принимали ренессивные мѣры противъ лицъ этого круга, — но въ самомъ обществѣ, въ другихъ литературныхъ партіяхъ, не только партійно-ничтожныхъ по своему умственному и нравственному характеру, но и въ настоящей «интеллигенціи», эти писатели встречали вражду чисто обскурантнаго свойства. Одна независимость, одно нѣсколько послѣдовательное проведеніе критическаго на жизнь были достаточны для того, чтобы этимъ писателямъ была придана репутация, въ нашихъ условіяхъ самая неблагоприятная. Иногда почти трудно сказать, кто шелъ впереди инкриминаціяхъ литературы, осторожныя ли власти,

или неразумная публика... Въ 1848-мъ году, когда умеръ Белинский, друзья его находили, что онъ умеръ во-время...

Такъ поставлена была литература художественная, историческая и критическая. Практическіе общественные вопросы почти не находили мѣста въ литературѣ, иначе—какъ въ видѣ портрета репозитива официальныхъ свѣдѣній, или въ видѣ безусловнаго папегизма; допускались только предметы, которые самимъ властямъ казались индифферентными. Нѣсколько примѣровъ изъ историческаго тогдашняго цензуры покажутъ, до какихъ размѣровъ доходило обязательное молчаніе литературы объ этихъ предметахъ.

Въ 1829-мъ, одинъ изъ петербургскихъ цензоровъ былъ задержанъ 8 дней за главнѣйшій за пропускъ статьи объ упадкѣ почтовыхъ сборовъ въ Курской губерніи.

Въ 1841-мъ, извѣстный академикъ Кенпепъ напечаталъ статью, подъ названіемъ «Почтовые сообщения», которая возбудила негодованіе управляющаго почтовымъ вѣдомствомъ князя Голлицына (извѣстнаго министра народнаго просвѣщенія при Александрѣ I). Онъ жаловался Уварову на дерзость Кенпепъ — идти въ разборъ «коренныхъ почтовыхъ законовъ» и осуждать дѣйствія почтоваго управленія. «Это—попытка того либеральнаго духа западной Европы (!), который стремится подвергать дѣйствію правительства контролю свободнаго книгопечатанія... Кенпепъ теперь уже возглашаетъ въ той же статьѣ: наступаетъ и настѣ время развитія силъ народныхъ!..»

Въ 1845-мъ, явилась статейка о строившейся тогда московской желѣзной дорогѣ. Управляющій путей сообщенія, «несколько порицая ея содержаніе, вполне благонамѣреннаго, испрошеніе, однакожъ высочайшее повелѣніе, чтобъ впредь ничего не печаталось объ этомъ предметѣ безъ его предварительнаго одобренія».

Въ 1828-мъ, дана была льгота литературѣ: разрѣшено печатать разборы театральныя пьесъ, что прежде совершенно не допускалось, такъ какъ актеры считались людьми, состоящими на службѣ, и сужденіе объ ихъ достоинствахъ или недостаткахъ принадлежало только ихъ начальству. Печatanіе этихъ разборовъ должно было, впрочемъ, происходить съ разрѣшенія начальника III-го отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи.

Сужденія о «политическихъ видахъ» правительства съ 1830-го года были строжайше запрещены всѣмъ изданіямъ, кромѣ сужденій, которыя заимствуются изъ официальныхъ изданій, демократической газеты и «Journal de St.-Pét.», издаваемого при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ; потому къ этимъ газетамъ

поставлена была еще «Сѣверная Пчела», куда политическій отдѣлъ ставляемъ былъ изъ одного официального вѣдомства.

Въ началѣ описываемаго періода изданъ былъ, въ 1826 году, уставъ, изготовленный адмираломъ Шишковымъ; въ 1828, этотъ уставъ былъ замѣненъ другимъ, нѣсколько болѣе снисходительнымъ. Но и послѣдній, какъ мы видѣли, былъ достаточно стѣснительнымъ и сохранилъ, кромѣ главной, нѣсколько специальныхъ цензуръ; именно: духовную цензуру—для книгъ духовнаго содержанія; цензуру медицинскаго вѣдомства—для лечебниковъ; цензуру III-го отдѣленія—для театральныя пьесъ, и наконецъ цензуру особаго специального комитета—для разсмотрѣнія учебныхъ вѣдомствъ.

Вскорѣ къ этимъ различнымъ цензурамъ присоединились еще и спеціальныя цензуры—министерства финансовъ, военнаго, морскаго—по тѣмъ предметамъ, которые касались этихъ вѣдомствъ. Въ послѣдствіи такое же отдѣльное право предварительнаго цензурированія книгъ и статей дано было управленію военноположенія заведеній, кавказскому комитету, II-му отдѣленію собственной канцеляріи, археографической комиссіи (!), главному вѣдѣтельству дѣтскихъ приютовъ, петербургскому оберъ-полицеймейстеру, управленію государственнаго книгоиздательства и президенту академіи наукъ. Наконецъ, то же право предоставлено было еще и другимъ вѣдомствамъ.

Въ министерство Уварова установились и другія стѣсненія литературы. Разрѣшеніе новыхъ журналовъ было до чрезвычайнаго затруднено; у ученыхъ обществъ отнято было издавна принадлежавшее имъ право—самимъ цензуровать свои изданія, и проч. Самый результатъ всѣхъ этихъ мѣръ, очевидно, не могъ быть крайне отяготительнымъ для литературы. Это рѣзко выразилось даже чисто вѣщными цифрами. Число книгъ уменьшилось: въ 1833—1847 годы, средняя годовая цифра выходившихъ книгъ чрезвычайно уменьшилась по отдѣламъ философіи и естественныхъ наукъ, и возвысилось только по предметамъ чисто практическаго характера—по сельскому хозяйству и юридическимъ наукамъ; по отдѣлу періодическихъ изданій размножились только изданія хозяйственно-промышленныя, медицинскія и модныя, и уменьшилось число изданій учено-литературныхъ. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, съ 1833—1847 годы, средняя годовая цифра выходившихъ книгъ, рассчитанныхъ по пятилѣтіямъ, понизилась съ 10,365, въ началѣ этого періода, до 9,158 въ концѣ его.

Этотъ результатъ самъ по себѣ довольно удивителенъ, потому что можно же предполагать, что въ теченіе этого періода все-таки возросла любовь къ чтенію, увеличивалось число образованныхъ

и читающихъ людей; можно бы было предполагать, что по ней мѣръ не упадетъ общая численность выходящихъ книгъ, ково бы ни было ихъ содержаніе и внутренняя цѣнность. Если одинъ подобный результатъ показывалъ, какъ трудны были внѣшнія условія литературы до 1848 года, то условія эти еще труднѣе въ послѣдующіе годы... Новыя стѣснительныя приведенны были европейскими событіями 1848 — 49-хъ годовъ. Къ удивленію, у насъ нашли возможнымъ распространять на русское общество тѣ опасенія, какія пробудило революціонное движеніе въ западной Европѣ, и сочли нужными немедленно рѣшительныя мѣропріятія для противодѣйствія предполагаемымъ вреднымъ идеямъ. Цензура, и прежде достаточно строгая, дошла въ своей строгости до послѣдняго предѣла въ дѣйствіяхъ та называемаго комитета 2-го апрѣля 1848, который явился въ роли контролирующей цензуры надъ всѣми дѣйствіями цензуры обыкновенныхъ. Литература была обезличена, лишена содержания, насколько возможно. Къ прежнимъ ограниченіямъ, исключавшимъ изъ ея области разнообразныя общественныя вопросы, присоединились новыя ограниченія. Нечего и говорить о томъ, что невозможны были ни малѣйшія упоминанія о европейскихъ событіяхъ, — кромѣ тѣхъ, какія являлись въ официальныхъ изданіяхъ и «Сѣверной Пчелѣ», — что современная исторія была вообще закрыта отъ литературы. Запрещенія распространились и на такіе предметы, гдѣ они были совершенно неожиданны и гдѣ на первый взглядъ трудно объяснить себѣ ихъ мотивъ. Такъ, напр., мѣръ, являлись запрещенія писать о древнихъ правахъ и обычаяхъ русскаго народа, — вслѣдствіе чего долженъ былъ прекратиться «Этнографическій Сборникъ», важное изданіе, тогда начиналось Географическимъ Обществомъ; запрещено было касаться тѣхъ эпохъ древней русской исторіи, какъ, напр., періодъ царствія, эпохи народныхъ волненій и т. д. Выраженіе чисто литературныхъ мнѣній бывало не безопасно, какъ то случилось напр. съ г. Тургеневымъ въ 1852, вслѣдствіе написанія имъ газетной статьи о Гоголѣ.

Параллельно съ этимъ, столько же мѣръ предосторожности найдено было нужнымъ принять противъ учебныхъ заведеній. Въ 1849-мъ году возникли слухи о предстоящемъ закрытіи университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Директоръ въ Москвѣ былъ дѣйствительно закрытъ студентамъ и вольныхъ слушателей въ каждомъ университетѣ должно было ограничиться тремя станами. Плата за слушаніе лекцій была возвышена. Издавались строгія инструкціи для сообра-

преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ и надзора за ними. Профессора университетовъ должны были представлять подробныя программы своихъ лекцій для предварительнаго просмотра со стороны начальства...» «Московский университетъ обращалъ на себя подозрительное вниманіе. Собирались свѣдѣнія о его преподавателяхъ, объ ихъ образѣ мыслей, ихъ лекціяхъ, о настроеніи духа университетскаго юношества... ходили уже слухи о предстоящемъ закрытіи университета» ¹⁾. Уваровъ, управление котораго мы видѣли, нельзя было обвинить въ недостаточности надзора за литературой и настроеніемъ умовъ, счесть нужнымъ удалиться изъ министерства.

Мы не будемъ сообщать другихъ подробностей объ этомъ тягостномъ и печальномъ періодѣ русской литературы и образованности, еще для многихъ памятномъ по личному опыту, и упомянемъ только объ одномъ обстоятельстве, которое находится въ связи съ административными мѣрами того времени относительно преподаванія и литературы. Это — такъ-называемое дѣло объ обществѣ Петрапавловскаго. Начатое въ 1848-мъ, и конченное въ 1849-мъ году, это дѣло послужило особеннымъ поводомъ къ репрессивнымъ мѣрамъ, такъ какъ полагали, что имъ несомнѣнно показывается превратное направленіе умовъ, заимствованное изъ революціонныхъ европейскихъ ученій и стремившееся къ ниспроверженію существующаго порядка.

Теперь, когда это время отдалено отъ насъ четвертью столѣтія и многими общественными опытами, кажется, можно говорить намъ спокойно и составить о немъ правильное историческое мнѣніе. Вѣроятно, для безпристрастныхъ людей, — какихъ бы то ни было мнѣній, — теперь ясно, что броженіе, происходившее въ упомянутомъ обществѣ, на дѣлѣ не представляло такой опасности, какъ это предполагается или даже считается несомнѣннымъ въ напечатанномъ недавно современномъ «Мнѣніи» г. Липранди, имѣвшемъ, по его собственнымъ словамъ, вліяніе и на исходъ дѣла ²⁾. Теперь ясно, что общество, — настолько тайное, что въ него попадали всякій, кто хотѣлъ, между прочимъ, легко проникли и агенты г. Липранди, — вовсе не было опаснымъ заговоромъ, который бы могъ угрожать существованію

¹⁾ Гран. стр. 238—239, 242—243 и друг. Ср. напечатанное въ послѣднее время нѣкоторые документы изъ того времени: каковы, напримеръ, распоряженіе министра просвѣщенія, изданное въ комитетѣ 2 апрѣля отъ 5 мая 1848 г. «Русскій Старикъ», 1872. V, стр. 784; инструкцію ректорамъ и деканамъ факультетовъ отъ 24 октября 1849, — тамъ же VI, 448 и проч.
²⁾ «Мнѣніе» напечатано въ «Русскомъ Старикѣ» 1872. т. VI.

нему порядку испроверженіемъ, и вообще имѣть бы какую-нибудь возможность практическаго дѣйствія въ социалистическомъ направленіи, отличавшемъ это общество. Въ упомянутомъ «Мининѣ» общество изображается именно какъ обширный загородный по изображенію это утверждается съ одной стороны на такихъ мелочныхъ фактахъ, а съ другой на такихъ далекихъ и нелепыхъ аналогіяхъ и сближеніяхъ, несостоятельность которыхъ бросается въ глаза ¹⁾. Существенное обвиненіе, которое основано на дѣйствительныхъ фактахъ, заключается въ двухъ главныхъ частяхъ: во-первыхъ, въ усвоеніи и распространеніи социалистическихъ идей, чтеніи и рукописномъ переводѣ социалистическихъ книгъ; а во-вторыхъ, въ педовольствѣ (выражавшемся изустно въ частной перепискѣ) многими тогдашними учрежденіями и разговорахъ о необходимости преобразованій, какова, напримеръ, отмена крѣпостного права ²⁾.

Но господствовавшимъ понятіямъ времени, эти обвиненія стали столь серьезными, что получили для обвиняемыхъ самый печальный исходъ. На дѣлѣ, весь социализмъ названнаго общества заключался въ чисто теоретическомъ увлеченіи Фурье, Сень-Симона и другими социалистами этого рода, которое высказывалось чтеніемъ книгъ и разговорами, было совершенно безвредно въ практическомъ смыслѣ (такъ какъ ничего не могло бы, да и не пыталось дѣлать) и тѣмъ болѣе безобидно, что большинство «общества» состояло изъ людей самой первой молодости, изъ юношей, у которыхъ весь этотъ «социализмъ» только и могъ быть дѣломъ юношескаго идеализма. Правда, самый глава общества не былъ юношей и отличался большою рѣшительностью мнѣній, но и его планы были настолько далеки отъ всякой возможности практическаго примѣненія, что могли не возбуждать большихъ опасеній.

Но, разсматривая это броженіе умовъ съ точки зрѣнія общественной исторіи, нельзя не допустить, что оно хотя до нѣсколькой степени было такимъ преувеличеніемъ, которое вытекало изъ крайности стѣсненій, которыя въ теченіе предыдущихъ десятилѣтій тяготѣли надъ образованіемъ и литературой. Какъ гласитъ въ общество проникли извѣстные элементы умственной жизни, общественнаго интереса, они должны были развиваться: они развивались бы болѣе правильно, еслибы имъ данъ былъ какой-нибудь просторъ; они развиваются въ крайность, въ рѣзкое противорѣчіе съ окружающимъ, наконецъ, въ уродливость, когда обременены препятствіями, когда ихъ хотятъ задержать и заглушить. Это такая же необходимость въ органическомъ ростѣ общества, какъ и въ развитіи физическаго организма. Молодые поколѣнія всегда и вездѣ наиболѣе чутки къ назрѣвающимъ потребностямъ общества, — имъ уже видны недостатки старины, съ которой они еще не успѣли связаться долгой привычкой, предъ которыми впереди жизнь, для которой они стремятся завоевать лучшіе принципы и порядки, вмѣстѣ съ тѣмъ, у нихъ и меньше, или вовсе нѣтъ опыта, который бы помогъ имъ оцѣнить условія и обстоятельства, разсчитывать возможности и шансы, и больше молодого энтузіазма, который не останавливается предъ затрудненіями и рискомъ: оттого, молодые поколѣнія, — въ такихъ періодахъ, когда общество только-что устанавливаетъ свое политическое существованіе, — всего чаще попадаютъ въ коллизію между старымъ и новымъ порядкомъ вещей и дѣлаются жертвами этого столкновенія. Какъ ни случайны и, повидимому, произвольны бываютъ формы подобныхъ движеній, тѣмъ не менѣе не трудно видѣть, что въ этихъ фактахъ совершается не случайное явленіе, а историческій процессъ. Социализмъ молодого поколѣнія сороковыхъ годовъ былъ такимъ, слишкомъ юношескимъ, порывомъ къ общественному самосознанію, стремленіемъ выяснитъ себѣ и усвоить интересы общества и работать для нихъ; — за невозможностью спокойнаго и открытаго развитія, эта потребность удовлетворяема была чисто теоріей, даже въ самыхъ фантастическихъ формахъ, какова она и была въ тогдашнемъ социализмѣ. Рядомъ съ этимъ, однако, въ умахъ составлялись и болѣе или менѣе ясныя представленія о непосредственной дѣйствительности, и вопросы о необходимыхъ для русской жизни практическихъ преобразованіяхъ ставились такъ, какъ они еще раньше ставились прежнимъ поколѣніемъ, и какъ потомъ они были поставлены въ наше время (реформы крѣпостная, судебная и проч.).

Мы приводимъ въ списокъ замѣчанія одного изъ ближайшихъ свидѣтелей и участниковъ этого броженія. Въ этихъ замѣчаніяхъ совершенно вѣрно указано психологическое развитіе этихъ увлеченій въ молодомъ поколѣніи сороковыхъ годовъ, и историческая связь этого броженія со всѣмъ теченіемъ тогдашней общественной жизни и тогдашняго умственнаго состоянія ¹⁾.

Мы приводимъ въ списокъ замѣчанія одного изъ ближайшихъ свидѣтелей и участниковъ этого броженія. Въ этихъ замѣчаніяхъ совершенно вѣрно указано психологическое развитіе этихъ увлеченій въ молодомъ поколѣніи сороковыхъ годовъ, и историческая связь этого броженія со всѣмъ теченіемъ тогдашней общественной жизни и тогдашняго умственнаго состоянія ¹⁾.

¹⁾ Такъ авторъ «Мининъ» ставитъ взгляды общества въ связь съ различными порядками, нравами, случаями невиннаго крестіянъ помѣщикамъ и т. п., что, очевидно, не имѣющимъ къ обществу никакого отношенія.

²⁾ Между прочимъ, въ этомъ отношеніи однимъ изъ особо важныхъ обвиненій было — чтеніе и сообщеніе другиму письма Бѣлинскаго къ Гоголю.

¹⁾ Изображая характеръ одного изъ полу-дѣйствительныхъ героев своего разсказа, человека молодого поколѣнія тѣхъ временъ, характеръ, удивлявшій людей жи-

Атмосфера, конечно, была ненормальна, и отсюда и выходили тѣ заблужденія, о которыхъ говоритъ цитируемый авторъ, и тѣ одностороннія увлеченія и крайности, въ которыя попадали люди съ тѣми или другими стремленіями къ идеалу, къ осмысленному принципу. Историческое и моральное оправданіе или объясненіе этихъ увлеченій и заключается въ особенныхъ условіяхъ времени, стѣснявшихъ или отнимавшихъ правильное удовлетвореніе нравственно-общественныхъ и умственныхъ потребностей. Восходя даѣе этого броженія конца сороковыхъ годовъ, мы найдемъ то же явленіе и раньше. Люди, умомъ или талантомъ стоявшіе выше толпы, жившіе идеалами, не находили себѣ мѣста въ обычныхъ правахъ, не могли свободно дышать въ спертomъ воздухѣ бѣдной общественной жизни, и удержаться въ области своего призванія, которая въ сущности еще не была признаваема обществомъ. Пушкинъ не хотѣлъ въ своемъ обществѣ быть только писателемъ; въ душѣ онъ гордился и наслаждался своей поэтической славой, былъ самымъ собой въ ближай-

тнейшаго благоразумія своими странностями, удаленіемъ отъ общества, скептическимъ раздраженіемъ и проч., авторъ говоритъ:

„Никому не приходило въ голову поискать причинъ въ атмосферѣ не только того исключительнаго круга, въ которомъ онъ вращался, но вообще всей русской жизни того времени. Неотразимыхъ причинъ тому, что каждая энергическая, дѣятельная личность бросалась во все нелеткія—отъ мрачнаго мистицизма до полудикаго бреттерства, отъ чаадовскаго отрицанія всей нашей исторической жизни до бѣгства въ отцамъ иезуитамъ, отъ помѣщичьихъ жестокостей до безпримѣрнаго пьянства...“

„Не крупныя факты, не радикальныя катаклизмы въ общественной или личной нашей жизни ужасы,—напротивъ, въ нихъ есть всегда нѣчто освѣжающее, какъ въ разрывающейся грозѣ,—ужасы ежедневныя, будничныя пошлости и подлости, опутывающія цѣлою сѣтью все общественныя отношенія, приобретающія силу авторитета, заслоняющія собою благородныя человѣческіе идеалы...“

Въ другомъ мѣстѣ тогъ же авторъ также вѣрно касается историческихъ обстоятельствъ, въ которыхъ составлялось это настроеніе умовъ молодого поколѣнія сороковыхъ годовъ:

„Дѣятельная работа общественнаго сознанія, начавшаяся гораздо раньше, вслѣдствіе историческихъ условій, не могла развиваться свободно и правильно, а потому приобрѣла неестественную напряженность, ушла въ меньшинство и выѣтъ съ нимъ потябла (движеніе двадцатыхъ годовъ). Пресмыченность развитія была нарушена образованіемъ перерывъ, въ темнотѣ котораго люди бродили ослѣпая, стараясь опознаться, гдѣ они, въ какихъ мѣстахъ и что такое они сами... Начались робкія, неуверенныя попытки опредѣлить свое я, поставленное на метафизическія подмостки мучительной ибемской работы... Все схватились за Гегеля и комментировали его по-своему. Это направленіе привело насъ къ замѣчательнымъ тонкостямъ психологическаго анализа и къ развѣвающей рефлексіи, парализовавшей каждый смѣлый шагъ въ сторону отъ торной дороги.“

„Среди повсѣдневной тишины едва слышались воркованія бездѣльнаго элликуренъ и одиокия, подавленныя жалобы личныя страданій...“

шесть кругъ сочувствующихъ друзей, но съ людьми общества онъ хотѣлъ быть свѣтскимъ человѣкомъ, потомкомъ древняго рода, увлекся аристократическимъ тщеславіемъ. Гоголь надолго бѣжалъ изъ русской жизни, въ лучшую пору своего творчества, по какому-то странному инстинкту, не смогъ помирить своего гениальнаго таланта съ господствующимъ характеромъ общества и кончилъ аскетизмомъ и мистикой. Лермонтовъ велъ въ своемъ обществѣ жизнь чисто внѣшнюю, лучшіе свои помыслы скрывалъ про себя, и отпоспѣлъ къ обществу съ презрѣніемъ, иногда циническимъ. Не будемъ приводить другихъ примѣровъ, въ которыхъ нѣтъ, къ сожалѣнію, недостатка въ прошедшемъ нашей литературы. Молодое поколѣніе конца сороковыхъ годовъ, мечтавшее, что наплотъ—хотя въ далекомъ будущемъ—положительный идеалъ, ради его забыло объ окружающемъ и стало жерівомъ своего увлеченія. Мы увидимъ даѣе, какъ это положеніе вещей дѣйствовало на людей двухъ передовыхъ литературныхъ школъ того времени, людей серьезныхъ настолько, чтобы не увлекаться фран-

„Въ этой ночи народилось и выросло поколѣніе людей, на долю которыхъ выпало много тяжелыхъ дней и горькихъ упрековъ. Они еще дѣлами зорко присматривались къ торжествовавшей кругомъ ихъ безсознательности и, ставъ юношами, увидѣли, что на родной почвѣ имъ дѣлать нечего. Отсюда начинается бѣднота, худосочный типъ „лишнихъ людей“ въ одну сторону, и тоже ненормальныхъ проповѣдниковъ далекаго идеала въ другую... Разумѣется, все они прошли искушеніе идеалистической философій,—и въ ту минуту, когда съ Гегелемъ въ рукахъ добивались отвѣговъ на „проклятыя вопросы“,—до ихъ слуха долетали другія рѣчи. Въ нихъ не было холода абстрактныхъ умозрѣній, а кипѣла ключомъ живая человѣческая кровь и рѣшался тяжелый вопросъ труженика: „на сколько же обокралъ меня заводчикъ одинъ разъ при расчетѣ за мою работу, и въ другой, когда я на этотъ заработанный грошъ купилъ у него фунтъ хлѣба по установленной таксѣ?““

„Этого было довольно.“

„Вся сила молодыхъ умовъ ушла туда, на усвоеніе этого вновь открывшагося передъ ними міра,—міра насущныхъ вопросовъ, энергическихъ протестовъ, страстныхъ рапъ настоящаго гора и обольстительныхъ построений всеобщаго будущаго счастья человѣчества... Загорѣлась страстная отвага мысли... А газеты изъ Парижа, начиная съ 24-го февраля, приносили какое-то нервическое раздраженіе... Онѣ читались нарахвать во всехъ петербургскихъ кофейныхъ; доходило часто до того, что кто-нибудь одинъ овладѣвалъ листкомъ, становился на столъ, окруженный толпой, и всеуслышаніе читалъ декреты временнаго правительства и рѣчи Луи Блана въ Люксембургскомъ дворцѣ... Домашніе газетчики тоже, кажется, дали слово поддерживать недоразумѣніе: вмѣсто простой передачи фактовъ, они—думалъ, что такъ и надобно дѣйствовать—издѣвались и плутовали не только надъ событіями, но даже именами называя, напримѣръ, Барбеса — Галбесомъ...“

„Теперь оглядываясь на это далекое прошлое, позволительно спросить—нормальна ли была тогдашняя атмосфера, нормально ли было состояніе молодыхъ головъ и могло ли быть нормально сужденіе объ ихъ заблужденіяхъ?“

(В. 1872. II. 503. 517—518).

тастическими идеалами; трудность положенія подавляла ихъ сознаниемъ безпомощности, въ данную минуту, того дѣла, которому посвящены были все ихъ силы.

Такимъ образомъ, это броженіе умовъ, которое — при всей ограниченности его размѣровъ при всей юношеской его пачивости — въ то время не замедлило поставить въ прямую связь съ тогдашней европейской революціей и изображать столь же опаснымъ, и которое стало поводомъ къ новымъ репрессивнымъ мѣрамъ, — само было слѣдствіемъ прежнихъ мѣръ этого рода, которыя не давали никакого правильного исхода паровавшимъ потребностямъ и интересамъ.

Но существенная трудность этого положенія вещей состояла въ томъ, что условія его лежали въ самомъ обществѣ, — непониманіе или чисто вѣнское пониманіе науки, недоверіе ко всякой новой мысли, выходящей изъ принятой рутины, не только недостатокъ сочувствія, но положительная вражда къ новымъ стремленіямъ литературы, были принадлежностью цѣлой обширной массы общества. Тѣ же взгляды высказывались въ самой литературѣ, — въ той части ея, которая вполне, и намѣренно и безнамѣренно, слѣдовала понятіямъ официальной народности. Эта литература можетъ служить отличнымъ представителемъ большинства; разныя степени этой литературы, начиная «Москвитининомъ» и романтизмомъ Кукольника, и кончая «Маякомъ» и «Сѣверной Пчелой», представляли разныя степени этого большинства, отъ нѣкоторой образованности, съ извѣстнымъ пониманіемъ пригодности науки, до самыхъ низшихъ ступеней образованія, граничившихъ съ невѣжествомъ, и до тѣхъ ступеней общественной нравственности, какія представляла «Сѣверная Пчела». Если руководящія вѣдомства были недоверчивы къ новымъ литературнымъ школамъ, находили ихъ вредными, то эти школы сталкивались здѣсь не съ какимъ-либо случайнымъ произволомъ, а съ цѣлымъ взглядомъ на вещи, который масса общества вполне и искренно раздѣляла, съ цѣлымъ умственнымъ тономъ огромнаго большинства такъ-называемаго образованнаго общества. Исполнители дѣлали, конечно, то, что отъ нихъ требовалось, но они сами были убѣждены въ справедливости требований, и взгляды Бутурлина, Шихматова, Мусина-Пушкина и пр. и пр. принадлежали имъ не только какъ администраторамъ, но и какъ людямъ общества. Въ главѣ о Гоголѣ мы указывали, что критическая школа казалась «скаредной», приписываемой имъ была казавшаяся «чернымъ», ея дѣятельность казалась положительно зловредною, и такимъ людямъ, отъ которыхъ можно

было бы ожидать болѣе просвѣщеннаго взгляда, людямъ, которые нѣкогда сами стояли въ первыхъ рядахъ литературы, были друзьями и литературными союзниками Пушкина...

Словомъ, критическое направленіе было мало вразумительно и несимпатично большинству, которое чувствовало себя въ лучшемъ изъ міровъ, и вслѣдствіе того считало критику дѣломъ не только не нужнымъ и пустымъ, но злонамѣреннымъ, не понимало въ ней внутренняго побужденія искать истины, а находило только недоброжелательную хулу на вещи, заслуживающія одного удивленія, непозволительное своеволие и вольнодумство. Самъ Гоголь, который въ своихъ теоретическихъ заблужденіяхъ съ начала и до конца былъ близокъ къ подобной точкѣ зрѣнія, чувствовалъ, однако, силой своего таланта, это положеніе вещей, и не одинъ разъ съ глубокимъ чувствомъ жаловался на тяжелое положеніе писателя, который хочетъ изображать жизнь такую, какова она есть, и не хочетъ только льстить обществу¹⁾.

¹⁾ Мы приводили уже нѣкоторые цитаты этого рода. Напомнимъ еще одно мѣсто, въ концѣ перваго тома «Мертвыхъ Душъ», мѣсто, въ которомъ онъ сдѣлалъ печальную, но, къ сожалѣнію, слишкомъ справедливую характеристику огромной части тогдашняго (а также, кажется, и теперешняго) русскаго общества:

«Но не то тяжело — говорить о немъ, разсуждая о герояхъ своей поэмы, — что будутъ недовольны герои; тяжело то, что живешь въ душѣ *неотразимая уверенность*, что тѣмъ же самымъ героемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ, были бы довольны читатели. Не загляни авторъ глубже ему въ душу... а покажи его такимъ, какимъ онъ показанъ всему городу, Манилову и другимъ людямъ, — и все были бы рады, и приняли бы его за интереснаго челоѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы какъ живой предъ глазами: за то, по окончаніи чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, *тыщащему всю Россію*. Да, мои добрые читатели, вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную челоѣческую бѣдность. *Зачѣмъ*, говорите вы, *къ чему это?* Развѣ мы не знаемъ сами, что есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же представляйте намъ прекрасное, увлекательное; пусть лучше позабудемся мы. „Зачѣмъ, ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ хозяйствѣ идутъ скверно?“ говоритъ помѣщикъ приказнику: „Я, братъ, это знаю безъ тебя; да у тебя рѣчей развѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ позабыть это, не знаешь этого — я тогда счастливѣе.“ И вотъ тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя средства для припеденія себя въ забвеніе. Спать умѣ, можетъ быть, обрѣтѣи бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона, — и пошелъ помѣщикъ забавляться по міру...“

Очевидно, что эта тема могла быть развита еще гораздо дальше, въ гораздо болѣе широкихъ примѣрахъ и примѣненіяхъ.

«Еще надѣтъ обвиненіе на автора, — продолжаетъ Гоголь, — со стороны такъ-называемыхъ *патріотовъ*, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершено посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капиталы, устроявая судьбу свою на счетъ другихъ; но какъ только случится что-нибудь, *по мнѣнію ихъ, оскорбительное для отечества*, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда *горькая*

Гоголь былъ правъ въ этихъ жалобахъ, и справедливо могъ сказать русскому обществу, — не только по поводу своего героя, который вызвалъ въ немъ эти печальные размышленія: — «Вы болѣе глубоко устремленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взоръ, вы любите скользнуть по всему недумаящими глазами»... Въ самомъ дѣлѣ, сколько разъ въ то время, и послѣ, до настоящей минуты, сколько разъ происходили въ этомъ обществѣ перелома, науки выбѣгали изъ угловъ, и раздавались крики объ оскорбленномъ патріотизмѣ по поводу книги, статьи, говорившихъ о нашей исторіи, нашей общественной жизни и т. д. не въ томъ тонѣ, къ которому привыкли описываемые Гоголемъ патріоты. Тридцать лѣтъ тому назадъ, эта патріотическая чувствительность была развита еще сильнѣе, во всѣхъ кругахъ общества, низшихъ и высшихъ — и можно себѣ представить положеніе той литературы, которая рѣшалась противорѣчить общему мнѣнію, хотѣла указывать обществу идеалы болѣе высокаго достоинства, — для большинства эти идеалы были даже просто невразумительны.

Этотъ общій характеръ жизни, среди которой надо было дѣйствовать новымъ стремленіемъ литературы, безъ сомнѣнія не могъ самъ по себѣ не стѣснять и ея собственное развитіе, и ея вліяніе. По необходимости, она ограничивалась только тѣми предметами, какіе оставались доступны; по необходимости, мысли ея не были досказаны, — а такъ какъ это бывало постоянно, то, быть можетъ, оттого онѣ и не додумывались до конца; лишеныя правдивыхъ возраженій другой стороны, ограниченыя своими, такъ сказать, алгебраическими формулами, не находя себѣ опоры въ жизненномъ опытѣ, эти мысли не могли развиваться до своего естественнаго результата. Цензурная опека ограничивала даже чисто научныя стороны литературы, до полной невозможности серьезнаго научнаго изысканія. Нѣсколько фактовъ могутъ достаточно показать, какъ съ разныхъ сторонъ и до какой прискорбной степени ограничивалось *содержаніе* литературы.

Правда, они выбѣгали со всѣхъ угловъ какъ науки, увидѣвши, что запуталась въ паутину муха, и подымавъ вдругъ крики: «Да хорошо ли выводить это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Видь это все, что ни описано здѣсь, это все наше, — хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ, что не болѣе? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?». На такія мудрыя замѣчанія, особенно на стѣснѣніе мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя прибавить въ отъѣздъ...»

Авторъ прибавлялъ, впрочемъ, одинъ отвѣтъ — извѣстную исторію о двухъ обитателяхъ, Гифѣ Мокиевичѣ и его дѣлѣ.

Мы видѣли, къ какимъ результатамъ приводила цензурная практика за пятнадцать лѣтъ, 1833 — 1847. Число книгъ рѣшительно уменьшилось по отвлеченнымъ, чисто научнымъ отдѣламъ, уменьшилось даже по отечественной исторіи, теоріи словесности и проч., и увеличилось только по предметамъ чисто практической полезности. Правда, вкусъ къ чисто-отвлеченной философіи въ это время упалъ въ самой литературѣ, но не менѣе философскія изученія, въ которыхъ теперь больше начинала привлекать ихъ реальная сторона, были все-таки невозможны, какъ только сближались съ какими-нибудь вопросами действительности и какъ-нибудь задѣвали принятую мораль и систему мнѣній. Вопросъ религіозной философіи былъ совершенно въ области разсужденій, — онъ являлся въ литературѣ только въ формѣ догматическихъ сочиненій, писанныхъ специалистами. Подъ конецъ, философія вообще признана была за науку опасную, и послѣ 1849 года была исключена изъ университетскаго преподаванія (вмѣсто нея введено преподаваніе логики и психологіи, поручаемое, кажется вездѣ, преподавателямъ богословія). Репутацію опасныхъ издавна имѣли и науки естественныя, о которыхъ думали, что онѣ имѣютъ спеціальную способность приводить къ матеріализму. Геологіи ставилось въ особую обязанность не противорѣчить традиціонному понятію о происхожденіи и возрастѣ земли. Впослѣдствіи, въ наше время, нужна была нѣкоторая смѣлость со стороны цензуры, чтобы сваять запрещеніе, лежавшее на цѣломъ рядѣ, между прочимъ, весьма знаменитыхъ, европейскихъ книгъ по естествознанію, которыя до тѣхъ поръ не имѣли никакого доступа въ нашу литературу. Ту же судьбу дѣлила политическая экономія, которой приписывали способность вести къ вольнодумству, такъ какъ она вмѣшивалась въ дѣло государственнаго хозяйства съ непрошеными разсужденіями, и къ социализму¹⁾.

Далѣе, опасна казалась и классическая древность, которую теперь такъ восхваляютъ защитники классицизма, какъ путь къ набожамъренности. Въ министерство кн. Ширинскаго-Шихматова, уваровская система смѣнилась другою системою; обученіе греческому языку въ гимназіяхъ было прекращено; исторія классическаго міра считалась вовсе не такъ важной и полезной, какъ полагали прежде, и нѣкоторые педагоги были того

¹⁾ Эти неблагоприятныя понятія о политической экономіи были тогда довольно распространены и очень сходны съ тѣми, которыя въ двадцатыхъ годахъ повели къ оппозиціи противъ профессоровъ петербургскаго университета Германа и Арсеньева, и къ изгнанію политическую экономію и статистику.

мѣня, что греческую и римскую исторію до Августа было полезно почти исключить совсѣмъ изъ курса исторіи, такъ какъ греческая исторія, писанная язычниками и республиканцами, каковы были Геродотъ и Фукидидъ, Титъ-Ливій и Тацитъ, должны были оказывать вредное вліяніе на юные умы. Очень близкій къ этому взглядъ выражала и новая программа, составленная въ 1848—1849 году для военно-учебныхъ заведеній генералъ-майоромъ Ростовцовымъ, который также возставалъ противъ «беззачетнаго, можно сказать, поклоненія событіямъ исторіи грековъ и римлянъ, которое такъ долго, и такъ несправедливо, господствовало и въ книгахъ и въ школахъ»: онъ хотѣлъ отдавать справедливость тому, что было замѣчательнаго въ древнихъ классическихъ государствахъ, но предостерегалъ отъ «ложнаго блеска», имъ придаваемаго, и говорилъ, что «не теряя уваженія къ обоимъ пародамъ, достигшимъ высокой степени образованія (то есть, къ грекамъ и римлянамъ)..., мы, теперь, не плѣняемся уже беззачетно республиканскими, нерѣдко, такъ сказать, *мишурными*, театральными добродѣтелями многихъ героевъ Греціи и Рима, и т. д. ¹⁾». Въ университетскомъ преподаваніи греческаго языка явилась новая черта: такъ какъ по вышеуказаннымъ основаніямъ изученіе древнихъ греческихъ писателей, языческихъ и республиканскихъ, представлялось и для университетовъ не полезнымъ въ нравственномъ смыслѣ, или непужнымъ, то, по указанію начальства, вмѣсто чтенія древнихъ классиковъ вводимо было чтеніе греческихъ писателей византійскаго періода, какъ важныя для насъ по своему нравственному и религіозному содержанію ²⁾...

Въ преподаваніи исторіи всеобщей уже и раньше появились особые требованія, смыслъ которыхъ состоялъ въ томъ, что преподаваніе должно было противодѣйствовать либеральнымъ взглядамъ европейскихъ историковъ. Такъ, отъ Грановскаго еще въ 1843—44 году требовали, чтобы онъ излагалъ реформацію и революцію съ католической (!) точки зрѣнія. Нѣсколько лѣтъ спустя, новый министръ народнаго просвѣщенія указывалъ необходимость «хорошаго руководства къ изученію всеобщей исторіи написаннаго въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія». Изъ того, какъ понималось тогда это дѣло педагогическими силами, очевидно, что ихъ русская точка зрѣнія была та же

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1866, III, педагог. Хрон. стр. 14. Биограф. Грановскаго, 244. «Наставленіе для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній», стр. 103—108.

²⁾ Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ петербургскомъ университетѣ.

³⁾ Биограф. Грановскаго, стр. 245 и слѣд.

... что католическая въ предыдущемъ примѣрѣ. Взгляды, составлявшіе эту такъ-называемую русскую точку зрѣнія, были дѣйствительно таковы, какъ намекалъ на это Грановскій въ своей запискѣ о новой программѣ преподаванія всеобщей исторіи. Какъ эта точка зрѣнія дѣйствовала въ дѣлѣ преподаванія, такъ она дѣйствовала и въ цензурѣ. Тѣ историческіе предметы, для которыхъ требовалась католическая точка зрѣнія, наконецъ, просто отсутствовали въ литературѣ. Это были цѣлые періоды исторіи, цѣлыя явленія историческаго развитія. Новѣйшая исторія была окончательно невозможна въ русской книгѣ. Книги европейской знаменитости, какъ сочиненія Шлоссера, Гервиуса и т. п., были запрещены даже и въ подлинникѣ. Впослѣдствіи, съ нѣкоторымъ трудомъ были допущены первыя извлеченія изъ Маколея, и т. д.

Это повторилось даже и въ самой русской исторіи. Тѣ взгляды, какихъ давно уже держались тогдашніе консерваторы, или люди, выражавшіе мнѣніе большинства, — эти взгляды вполне высказались въ репрессивныхъ цензурныхъ мѣрахъ, принятыхъ послѣ 1849 года. Русская исторія должна была изображать и доказывать извѣстные принципы, которые давались готовыми; въ историческихъ сочиненіяхъ должны были устраняться черты и эпохи, въ которыхъ можно было видѣть что-либо неблагопріятное этимъ принципамъ. Извѣстна печальная исторія по поводу перевода книги Флетчера о Россіи *XVII-го вѣка*, — исторія, результатомъ которой было прекращеніе на много лѣтъ изданія «Чтеній московскаго общества исторіи и древностей» г. Водянскимъ. Къ числу неблагопріятныхъ подробностей, устранявшихся изъ литературы, отнесены были все періоды народныхъ волненій, исторія переворотовъ XVIII-го столѣтія; даже древній бытъ, мифологія, этнографическое изученіе народныхъ обычаевъ возбуждали недоумѣніе, и печатаніе изслѣдованій затруднялось и останавливалось ¹⁾.

¹⁾ Въ напечатанныхъ недавно запискахъ извѣстнаго археолога Сахарова («Р. Арх.», стр. 930) мы находимъ свидѣніе, что даже Сахаровъ встрѣчалъ неблагопріятныя пренія при изданіи своихъ книгъ. По поводу своего изданія: «Сказанія русскаго народа о семейной жизни своихъ предковъ» (описаніе народныхъ обычаевъ), вышедшаго еще въ 1836 году, Сахаровъ замѣчаетъ: «Вѣдала книга! Сколько она рождаетъ мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!..» А г. Савваитовъ, одинъ изъ друзей Сахарова, сообщивши его записки въ «Р. Арх.», прибавляетъ: «Дѣйствительно, дѣло было до того, что Сахаровъ удержанъ уже Соловками, и бѣда уже висѣла надъ нимъ, что онъ не могъ по участію, принятое въ немъ г. А. Н. Голицынымъ, избавило нашего археолога отъ душевнотерпѣливаго пребыванія въ отдаленной обители...» По ходатайству г. Голицына, подѣ начальствомъ котораго онъ служилъ врачомъ въ почтовомъ департаментѣ, Сахаровъ потомъ получилъ даже высочайшую награду.

Смотрѣли истинныя издѣлія на этнографическіе труды, очевидно, подѣ влия-

гійскій уже готовился войти въ Черное море, въ Москвѣ, только многія изъ дамъ, но и изъ воиновъ. доживавшихъ въ свой вѣкъ, толковали, что враги недоумѣваютъ, что имъ и хлопочутъ только о томъ, какъ выпросить себѣ пощады и у Россіи... Грановскій, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдя за ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событій, за общественнымъ мнѣніемъ Европы, за планами и переговорами европейскихъ правительствъ, за приготовленіями къ войнѣ, дрожалъ и оскорблялся невѣжественными или легкомысленными толками и мнѣніями, раздававшимися вокругъ него. Опасная грозившая Россіи, была для него ясна. «Чѣмъ приготовились для борьбы съ цивилизаціей, высылающей противъ насъ свои силы?» задавалъ онъ горькій вопросъ людямъ, легко вбровавшимъ въ счастливый для Россіи исходъ возникшей борьбѣ...

«Съ этого времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состояніи. Грозныя событія, переживаемыя тогда Россіей, начали вызывать въ лучшихъ умахъ русскаго общества сознание положенія и недостатковъ общественного устройства Россіи. Для Грановскаго такое сознаніе становилось мучительнѣе, чѣмъ когда нибудь. Въ то тяжкое время мысль его обращается чаще всего къ великому преобразователю Россіи, къ Петру... Онъ горячо любилъ русскихъ и Россію, онъ зналъ и высоко цѣнилъ многія стороны русскаго характера, но понималъ и все ихъ недостатки. Съ горечью замѣчалъ онъ, что русскій народъ умѣетъ становиться умирать за отечество, но жить для него не умѣетъ. Россіи нужны преобразованія, ей нуженъ преобразователь — вотъ что глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ послѣднее время жизни»¹⁾.

Это послѣднее время вообще наводило его на самыя мрачныя мысли. Оно разрушало все надежды дѣятельности, которую онъ питалъ съ давняго времени. «Есть съ чего сойти съ Благо Вѣлиискому, умершему во-время» — говорилъ онъ въ 1850 году. «Сердце поетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде и чѣмъ стали теперь» — писалъ онъ къ одному другу въ 1851 году, указывая на то, какъ тогдашнія условія русской жизни давали мѣста ни малѣйшему проявленію тѣхъ идеальныхъ, общественныхъ-воспитательныхъ стремленій, которыя въ юности у Грановскаго отличались кроткимъ и любящимъ характеромъ...

¹⁾ Біогр. Гран., 270—275.

указанное нами настроеніе Грановскаго, какъ мы замѣтили, общее настроеніе всего круга людей, раздѣлявшихъ тотъ образъ мыслей. Это общее настроеніе видоизмѣнилось по разному личнаго характера, темперамента, ясности и силы убѣжденій за судьбу русскаго развитія, горькаго чувства подавленности надеждъ, — и результатомъ всего было глубокое убѣжденіе въ необходимости иного порядка дѣлъ, необходимости широкихъ и энергическихъ преобразованій, которыя одни могли вывести Россію изъ ея фальшиваго и опаснаго положенія.

Прошло два-три года, и съ окончаніемъ войны въ русскомъ обществѣ произошла метаморфоза — наступили знаменитые годы «прогресса». Общій тонъ мнѣній чрезвычайно измѣнился: въ первыхъ, невозможно было не признать превосходства той цивилизаціи, о которой говоритъ Грановскій; во-вторыхъ, новый правительственный періодъ давалъ возможность ожидать смягченія строгости, и это оказало вліяніе не только на людей, которые прежде не смѣли высказывать свои мысли, но и на людей, которые при этомъ совсѣмъ «не смѣли свое сужденіе имѣть». Положеніе литературы измѣнилось не вдругъ; въ первое время еще продолжали господствовать прежніе цензурные приемы, — но постепенно эти приемы смягчались, литературѣ давалось все болѣе и болѣе простора противъ прежняго, и она тотчасъ воспользовалась новыми, благоприятными условіями.

Если мы обратимъ теперь вниманіе на то, что говорилось теперь въ обществѣ, что стало высказываться въ литературѣ и встрѣчаться всего больше одобренія въ самой публикѣ, встрѣчающейся «прогрессу», — мы увидимъ, что въ сущности это были именно взгляды, которые господствовали въ литературныхъ школахъ 40-хъ годовъ. Когда, во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ, начались эти разнообразныя заботы о русскомъ прогрессѣ, сущности это было то же самое, что говорили нѣкогда Бѣлинскій, Грановскій и ихъ друзья. Мнѣнія этой школы, которому лѣтъ тому назадъ считались у большинства дерзкимъ надумствомъ, умничаньемъ кабинетныхъ людей, стали теперь будто вновь открытой истиной и вскорѣ потомъ общимъ мнѣніемъ, которымъ смѣло пользовался каждый, кому, искренно или неискренно, хотѣлось не отстать отъ вѣка. Напа общественная дѣятельность стала теперь представляться вовсе не въ томъ близкомъ видѣ, какою считали ее прежде; сколько прежде считалось пахотило ее благополучной, столько теперь стали находить въ ней недостатковъ; самообличеніе пошло потоками.

Извѣстно, какъ это движеніе въ либеральную сторону захватывало даже людей, собственно говоря вовсе не склонныхъ къ кому-нибудь либерализму и которые, нѣсколько лѣтъ спустя, предпочли вернуться къ прежнему, находя, что это и проще можетъ быть при новыхъ обстоятельствахъ гораздо выгоднѣе. Но если, мимо этихъ каррикатурныхъ сторонъ того времени въ которыхъ уже тогда люди болѣе проницательные угадывали ту же безхарактерную податливость большинства, если обратили вниманіе на то, что занимало людей, болѣе серьезно и горячо принимавшихъ общественный интересъ, и что стало теперь предметомъ правительственныхъ начинаній, то параллель съ идеями литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ становится несомнѣнно. Въ этомъ и заключается ихъ историческій смыслъ. Въ нихъ было именно стремленіе къ тому преобразованію, которое совершалось теперь въ различныхъ областяхъ общественной и государственной жизни. Освобожденіе крестьянъ; уничтоженіе взяточничества—моральными проповѣдями, а болѣе разумными учрежденіями; преобразование судовъ и введеніе присяжныхъ; извѣстный просторъ для общественной самодѣятельности; введеніе гласности какъ въ дѣятельности административной и судебной, такъ и для другихъ предметовъ общественнаго значенія, и рядомъ съ этимъ, свобода печати; наконецъ, сколько возможно болѣе широкое образованіе для всѣхъ классовъ общества—все это было ясно сознаннымъ и бесспорнымъ убѣжденіемъ сороковыхъ годовъ. Правда, писатели того времени не могли развить всего этого прямымъ образомъ, не изложили этого въ положительной формѣ,—но имъ помѣшало въ этомъ только практическая невозможность, тѣ цензурныя препятствія, которыя вообще не дали имъ высказать вполне своего образа мыслей. Для читателей серьезныхъ былъ и тогда, въ общихъ чертахъ, ясенъ тотъ характеръ общественной и государственной жизни, какого они должны были желать по ихъ взгляду на вещи. Многіе изъ тѣхъ писателей продолжали дѣйствовать послѣ, дѣйствуютъ и до сихъ поръ, и когда въ пятидесятыхъ годахъ они говорили объ общественныхъ преобразованіяхъ, они нечисто высказывали не вновь придуманныя, а давнишнія мысли. До какой рѣзкой ясности доходили понятія этого времени въ сороковыхъ годахъ, можетъ служить примѣромъ не разъ указанное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

Итакъ, если въ сороковыхъ годахъ эти люди были гонимы, если имъ ставили въ упоръ, что они точно по недоброжелательству не хотятъ признавать порядка вещей, составляющаго общественное благополучіе, ихъ вина состояла только въ томъ, что они

общества понимали положеніе вещей, истинный интересъ общества и государства: они не хотѣли повторять лъстивой лжи о всеобщемъ благополучіи, и видѣли тѣ слабыя стороны общества, которыя нуждались въ перемѣнѣ и по требованію общественной справедливости, и по требованію національнаго самозанятія. Первое испытаніе, которое встрѣтилось потомъ націи, подтвердило ихъ предвидѣнія и повело общество на тотъ путь образованія, какого они давно желали.

Такова нравственно-общественная заслуга писателей сороковыхъ годовъ и ихъ историческое значеніе. Не будемъ говорить о томъ, какой урокъ слѣдуетъ изъ ихъ исторіи: историческіе уроки сами собой ясны тѣмъ, кто умѣетъ понимать общественныя отношенія и относится къ нимъ съ честнымъ желаніемъ истины, не безполезно указывать ихъ тѣмъ, кто смотритъ на міръ «копая пальцемъ въ носу»; какъ выражается великій реалистъ Гоголь, или кому нѣтъ дѣла до истины и до интересовъ общества.

Намъ остается упомянуть тѣ, не вполне благопріятныя заключенія о литературной эпохѣ сороковыхъ годовъ, какія вызывала современная дѣятельность нѣкоторыхъ писателей, принадлежавшихъ той эпохѣ по началу своей дѣятельности; мы уже касались отчасти этого предмета, и ограничимся немногими замѣчаніями. «Московскія Вѣдомости» и «Русскій Вѣстникъ» издаются людьми сороковыхъ годовъ, и это заставляло нѣкоторыхъ думать, что въ идеяхъ сороковыхъ годовъ была извѣстная неустойчивость, неясность, неполнота, которыя и сдѣлали возможнымъ превращеніе ихъ прежняго либерализма въ нѣчто не только консервативное, но какъ будто просто обскурантное. Можно пожалуй признать, что и пылкій «Гражданинъ» издается также самымъ оптимистичнымъ, повидимому, человекомъ сороковыхъ годовъ, и пріиславимъ другіе примѣры подобныхъ превращеній. Но они еще не выводятъ того, что хотятъ ими доказать. Начать съ того, что и «Московскія Вѣдомости» и «Русскаго Вѣстника» не играли въ литературѣ сороковыхъ годовъ никакой яркой роли, которой можно было бы опредѣленно характеризовать ихъ современіе. Нынѣшній редакторъ «Гражданина» (приобрѣлъ тогда своимъ именемъ Людми) свою славу какъ писатель беллетристическій, и какъ человека гражданского-филантропическаго характера, навѣяннаго своимъ временемъ,—по о другихъ его произведеніяхъ Бѣлинскій еще не такъ мѣтко отзывался какъ о «нервической чепухѣ», которая въ послѣднее время и господствуетъ, кажется, безраздѣльно, въ его произведеніяхъ. Словомъ, эти и подобные примѣры, гдѣ превращеніе слишкомъ опредѣлялось личными свойствами, еще не го-

ворять противъ силы, искренности и исторической важности идеаловъ сороковыхъ годовъ, какъ онѣ понимались лучшими людьми того времени. Противъ приведенныхъ примѣровъ можно было бы привести другіе, гдѣ превращенія не послѣдовало, и гдѣ, напротивъ, сущность взглядовъ не только сохранялась, но и развивалась дальше. Но, дѣйствительно, есть пункты различія, гдѣ люди сороковыхъ годовъ (т.-е. люди тогдашнихъ прогрессивныхъ понятій) уже не сходились съ новыми поколѣніями, гдѣ взгляды первыхъ могли не удовлетворять, могли казаться ошибочными и узкими даже и въ томъ случаѣ, еслибѣ нисколько не отступили отъ своего первоначальнаго типа. Первые были больше идеалисты и отвлеченные либералы, когда вторые больше чувствовали реальную сторону жизни, науки и искусства. Эта существенная разница весьма понятна. Первые начинали то дѣло, которое продолжалъ второй, и продолженіе естественно встрѣчало новыя стороны предмета, ближе опредѣляло прежнія, отъ вещей общихъ приходило къ частностямъ, отъ отвлеченныхъ — къ практическимъ. Съ другой стороны, измѣнилось направленіе европейской мысли, которая продолжала оказывать сильное вліяніе на содержаніе нашей образованности. Первые больше были подъ вліяніемъ отвлеченно-философскихъ, обще-историческихъ изученій, или встрѣчались съ учениями социальными въ ихъ самой крайней идеалистической формѣ французскихъ социалистовъ, которые могли дать только самыя общія черты своего отдаленнаго идеала. Вторые уже не видѣли безусловнаго господства отвлеченной философіи, и больше знакомы были уже съ ея послѣдними развитіями у лѣвой стороны гегельянства, или съ новыми изслѣдованіями въ области естественно-философіи; изученія историческія приняла болѣе широкій и положительный характеръ, который представляла теперь сама европейская литература, и который обнаруживался также и въ нашихъ собственныхъ изученіяхъ своего прошедшаго; политико-экономическія ученія новѣйшаго времени оставили почву отвлеченнаго социализма, и говорили о достиженіи лучшаго устройства экономическихъ отношеній, уже не фантастическими, но въ дѣйствительности возможными средствами, напр. извѣстными учрежденіями, развитіемъ кооперации внѣ государственной инициативы или подъ ея прямымъ вѣдѣніемъ, и т. д. Новое положеніе вещей, во всякомъ случаѣ болѣе благоприятное чѣмъ прежде, привело также разницу условій, вліяніе которой отражается и въ сужденіяхъ о литературѣ сороковыхъ годовъ. Наконецъ, самыя событія преобразованія, совершавшіяся въ новый правительственный періодъ, могли производить, и производили на нѣмъ и др.

различное впечатлѣніе. Первые мечтали нѣкогда о лучшихъ временахъ, о болѣе свободѣ для общества, для литературы и науки, такъ мало видѣли кругомъ себя условій для этого, и такъ мало надѣялись въ свое время на исполненіе своихъ мечтаній, и съ другой стороны вынесли изъ-за нихъ такъ много мелкихъ и крупныхъ испытаній, что этихъ людей, очевидно, должна была удовлетворять гораздо меньшая доля исполненія ихъ желаній, чѣмъ людей, для которыхъ общественный опытъ почти начинался прямо съ этого новаго порядка вещей. Для первыхъ было важно одно то, что признанъ былъ тотъ или другой общій принципъ: по тому, что они видѣли въ прежней русской общественности, и это казалось уже, и дѣйствительно было важнымъ приобритеніемъ, и утомившаяся энергія не увлекалась новыми исканіями. Для вторыхъ, новый принципъ, вводимый въ жизнь, казался дѣломъ необходимости, почти условіемъ рациональнаго существованія, которому безъ этого грозила, по ихъ мнѣнію, серьезная опасность ослабленія и упадка, въ виду европейскаго сосѣдства и враждебнаго соперничества. Съ этой точки зрѣнія, справедливость которой едва ли подлежитъ сомнѣнію, не довольно было одного неяснаго, обоюднаго, такъ сказать, безхарактернаго заявленія принципа, но было необходимо послѣдовательное проведеніе его, потому что только это послѣднее и могло считаться сколько-нибудь дѣйствительнымъ противъ многообразныхъ волъ, продолжающихъ искажать и обезсиливать интуитивную русскую жизнь. Чѣмъ больше вторые имѣли слѣдствій, не находить этой послѣдовательности, естественно тѣмъ болѣе ихъ точка зрѣнія дѣлалась исключительною, и тѣмъ меньше становилось возможно соглашеніе съ идеалистическимъ оптимизмомъ.

Таково отношеніе двухъ періодовъ прогрессивнаго направленія нашей литературы, или, пожалуй, двухъ литературныхъ и общественныхъ поколѣній. Если притомъ многие изъ людей школы сороковыхъ годовъ въ послѣднее десятилѣтіе не выдержали своего либерализма, и, напр., изъ англосанкто-либеральнаго «Русскій Вѣстникъ» пятидесятыхъ годовъ могли произойти новѣйшіе «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости», и послѣдніе (по крайней мѣрѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ) приобрѣли болѣе пламенныхъ поклонниковъ, чѣмъ имѣли въ пору своего либерализма (а тогда поклонниковъ также было очень много), то очевидно, что это отступленіе бывшихъ либераловъ на политическій дворъ надо разсматривать не только какъ ихъ личное дѣло, но и какъ явленіе общественнаго свойства. Если отступленіе и

было внушено расчетомъ на личный интересъ, на популярно-и т. д., то возможность популярности, приобретаемой подобными отступленіемъ, показываетъ, что въ самомъ обществѣ заговорили уже иные инстинкты, и писатели, поддавшіеся имъ, возвращались въ ту же толпу, изъ которой они выдѣлились нѣкогда, какъ руководители. Въ этой массѣ снова заговорили ея давнишніе свойства, та вражда къ умственному труду, ненависть къ тому, что не льститъ ея грубому самодовольству, который два десятилѣтія тому назадъ обоимъ обществу такъ дорого.

Насъ отдѣляетъ отъ литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ цѣлый періодъ новаго развитія, въ которомъ совершилось много важныхъ событий, общественныхъ и литературныхъ; теперь привыкли считать описываемое нами время давнимъ прошлымъ, которое мы далеко опередили,—но, какъ ни важны многія изъ совершившихся перемѣнъ, въ сущности наше время, по своему содержанию, еще не такъ далеко ушло отъ этого давняго прошлаго и не исполнило тѣхъ задачъ, которыя послѣднее ставило русскому общественному развитію и литературѣ. Не будемъ говорить о тѣхъ понятіяхъ гражданской жизни, которыя были уже прочно усвоены лучшими людьми той эпохи, и которыя до сихъ поръ еще не были признаны нашимъ временемъ и не получили мѣста въ учрежденіяхъ. Самый вопросъ образованія, хотя разъяснился нѣсколько съ того времени, и самымъ обществомъ было при этомъ положено не мало прекрасныхъ началъ и дѣйствительнаго труда,—все еще находится въ самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ. Нравственное освобожденіе общества образованностью, которое было основнымъ интересомъ того времени, до сихъ поръ не достигнуто даже въ средѣ наиболѣе образованнаго общества, стоящаго во главѣ народа. И въ скромныхъ размѣрахъ оно остается идеаломъ, быть можетъ очень не близкаго будущаго. Нашимъ обществомъ не достигнута и не существуетъ въ обычаяхъ и нравахъ его, и то понятие безъ котораго немислимы серьезныя успѣхи въ образованіи, понятие о свободѣ научнаго изслѣдованія. Положеніе науки правда, съ тѣхъ поръ также нѣсколько улучшилось, но сущность принциповъ этого положенія осталась тотъ же. Какъ тогда, такъ все еще находится подъ надзоромъ опеки; ея отдѣлы и дѣлятся на полезные и вредные, безопасныя и опасныя, желательныя и нежелательныя; нѣкоторые все еще не имѣютъ въ русской литературѣ и на русскомъ языкѣ. Оттого, сущность вѣданія нашей науки до сихъ поръ случайно и непрочно, и она продолжаетъ оставаться въ прежнемъ вассальномъ отношеніи

европейской образованности,—которое оставляетъ за нами репутацію умственнаго несовершеннolѣтія и, къ сожалѣнію, не безъ основанія; потому что отсутствіе самой возможности собственнаго свободнаго изслѣдованія, поневолѣ дѣлаетъ бѣдной нашу научную литературу и ставитъ, какъ ее, такъ и цѣлую нашу образованность, въ подчиненіе литературѣ и образованности европейской.

Въ нашей литературѣ—и въ той, которую мы изучали въ этихъ очеркахъ, и въ современной, — къ сожалѣнію, слишкомъ часто чувствуется этотъ недостатокъ свободнаго движенія, связанный мысли лучшихъ писателей, въ наукѣ и поэзіи, въ критикѣ и романѣ, въ изученіи прошлаго и въ изображеніяхъ настоящаго. Имѣвши въ виду указать нѣкоторые основные факты въ исторіи нашего общественнаго самосознанія, мы не могли не встрѣчаться съ прискорбными явленіями подобнаго рода, такъ какъ они слишкомъ часто повторяются въ этой исторіи. Скучно припоминать, сколько это навлекло настоящимъ очеркамъ цѣлыхъ обвиненій—въ неуваженіи къ нашей литературѣ, въ желаніи бросать на ея славныя имена невыгодную тѣнь, въ непризнаніи того, что есть въ ней высокаго и замѣчательнаго и т. д.,—обычный приѣмъ невѣжественныхъ людей, которымъ трудно отвѣчать вразумительнымъ для нихъ образомъ. Эти очерки—не исторія художественной литературы; ихъ цѣлью было указать общественную сторону нашего литературнаго развитія, и только съ этой точки зрѣнія мы высказывали свое мнѣніе. Оно опиралось на факты, на цитатахъ, къ пересмотру которыхъ и слѣдовало обращаться критикѣ. Если указанные факты оставляли иногда неблагоприятное впечатлѣніе,—неужели надо было скрывать ихъ, или подкрапывать ихъ? И неужели это послѣднее было бы уваженіемъ къ литературѣ? Въ высказанныхъ мнѣніяхъ могутъ быть ошибки, преувеличенія, — они могутъ быть исправлены новымъ изслѣдованіемъ.

То, чего мы искали въ своемъ изслѣдованіи, это — опредѣленіе дѣйствительныхъ отношеній литературы къ образованію общества, основныхъ понятій; чего мы глубоко желали бы для литературы, это будетъ понятно каждому читателю, у котораго есть интересъ къ ея широкому и свободному развитію и процвѣтанію.

А. Пыпинъ.